

ЛЕО ЯКОВЛЕВ



РОМАН С ЕВРЕЯМИ

*Светлой памяти
Татьяны Львовны
Щепкиной-Куперник*



Шарж Д. Левина

Лео Яковлев

Антон Чехов.
Роман с евреями

Харьков
Издательская группа «РА-Каравелла»
2000

Издание осуществлено при содействии регионального отделения «Джойнт» в Харькове (The American Jewish Joint Distribution Committee), фонда «Еврейский культурный центр Бейт Дан» и Восточно-Украинской межрегиональной организации «Тарбут лаам» («Просвещение для народа»).

Основной спонсор «Джойнта» — Компания Федераций UJA Объединенных Еврейских общин.

AJJDC is sponsored primarily by the UJA Federation campaign of United Jewish Communities.



Художник обложки *Б.М. Каган*

ЯКОВЛЕВ Лео

Я47 Антон Чехов. Роман с евреями. — Харьков: Изд. группа «РА-Каравелла», 2000. — 192 с.

ISBN 966-586-074-7.

Лео Яковлев — харьковский писатель, автор романа «Корректор» и многих рассказов и биографических очерков, опубликованных в Украине и за рубежом. Эта книга содержит его большое эссе об отношении А.П.Чехова к евреям и еврейскому вопросу. На фоне этой проблемы возникает несколько необычный и незнакомый бывшему «советскому» читателю образ гениального писателя и воссоздаются некоторые картины и ситуации русской общественной жизни его времени. В книгу также включены отобранные Лео Яковлевым тексты А.П.Чехова, посвященные еврейской теме, и воспоминания И.Альтшуллера «Еще о Чехове».

ББК 83.3(2РОС=РУС)1

ISBN 966-586-074-7

© Лео Яковлев, 2000

© Худ. оформление. Изд. группа «РА-Каравелла», 2000

Сегодня мы начинаем чувствовать, насколько Чехов нам близок; завтра, может быть, поймем, как бесконечно он опередил нас.

Дж. М. Марри

Все евреи были жертвами, но это не значит, что все они были ангелами.

*Э. М. Ремарк.
Земля обетованная*

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В последние десятилетия XIX века русская литература достигла расцвета и обрела международное признание, заняв свое место среди великих национальных литератур. Толстой, Достоевский, Тургенев, Лесков стали для русской читающей публики учителями жизни и законодателями литературной моды.

Не менее интенсивно развивалась в эти годы и на рубеже столетий русская философия. Общественное влияние философии и философов с каждым десятилетием становилось все более значительным.

И вот в такое, явно перенасыщенное «властителями дум» историческое время в России появляется писатель и мыслитель наднационального, вселенского масштаба, не претендующий на роль «учителя человечества», — Антон Чехов. Ему, наделенному всеведеньем, предстояло избрать путь исполнения возложенной на него высокой общечеловеческой миссии.

Чехов пренебрегает борьбой за место в ряду «Учителей», корифеев русской прозы и русской философии отчасти потому, что не ощущает своего творческого родства с ними — об этом свидетельствуют его отзывы о Достоевском, Гончарове, Тургеневе и других. Еще более резки его высказывания о философии и философах.



Предчувствуя краткость своего земного бытия, он пишет «проходную», «фельетонную», как он нередко ее называл, газетную и журнальную прозу, зашифровывая в малых и больших рассказах и повестях свою философию, свои пророчества, предсказания и предчувствия. При этом он всячески старался «усреднить» свое письмо. Но это ему не удалось: несравненный художественный дар, озарявший все, им созданное, сделал его тексты непревзойденными шедеврами мировой литературы, сохраняющими лучшее из того, что было в ней до него и содержащими совершенно новые формы, которые со временем войдут в обиход под названием «модернизм». И только немногие проницательные умы, вроде Дж. Голсуорси, напомнят, что все эти отважные новшества уходят своими корнями в творчество Чехова.

Русский (да и не только русский) читатель привык к тому, что литература непременно его чему-нибудь учит, подробно и многословно объясняет, почему нельзя убивать старушку-процентщицу, даже если очень нужны деньги, чтобы с их помощью осчастливить человечество. Объясняет и то, как будет нехорошо на душе у того, кто все-таки старушку эту прихлопнет, и какое за это будет наказание.

Нехорошо также изменять мужу, а потом и вовсе бросить его, причинив страдания близким. И здесь виноватую ожидает возмездие, о чем заявлено сразу же в заимствованном из Второзакония эпиграфе к толстовскому роману («Мне отмщение, и Аз воздам»).

Чехов никогда никого ничему не учил и ничего никому не доказывал. Он предоставлял читателям редчайшую возможность подумать. О Добре и Зле, о том, кто прав и кто виноват, и о том, как людям выбраться из своих национальных оврагов со скользкими глинистыми склонами (овраг всегда был для Чехова символом безысходности, в которую сами себя загоняют люди) в огромный блистающий мир.

Он не рассказывал, даже не намекал читателю, что дальше будет с теми, кто жил, томился и страдал на страницах его повестей и пьес. (Литературоведы потом назовут эту его шалость «открытым финалом» и воздвигнут на этом «фундаменте» сложные теоретические построения.) Он считал, что для каждого из нас поиски и сомнения есть кратчайший путь к Истине.

Чехов надеялся, что, решив для себя эти первые, не очень сложные загадки, читатель, может быть, не сразу, а через десятилетия (кажется, о таких сроках он говорил Т.Л.Щепки-

ной-Куперник) постигнет глубинный сокровенный смысл его прозы.

Чехов был очень чувствителен к межнациональным отношениям людей, особенно когда речь шла об отношениях сильного и слабого, в данном случае — представителей «имперской» нации и поработенных империей народов. В его письмах и сохранных мемуаристами высказываниях немало добрых слов о крымских татарах, греках, турках, караимах и многих других. Он никогда не забывал об украинской линии своих предков и часто говорил о милых ему чертах украинского характера. Но почему-то именно евреев с их еврейскими проблемами он сделал главными действующими лицами некоторых своих произведений. Думается, этот удивительный факт свидетельствует о томивших Чехова предчувствиях, связанных с трагической судьбой и тяжкими испытаниями, ожидавшими еврейский народ, и он считал своим долгом облечь эти предчувствия в форму предсказаний и пророчеств, зашифровать их в своих произведениях.

Сегодня человечество, пережившее жестокую и кровавую историю столетия, отделяющего нас от чеховского времени, может по-новому прочитать все, написанное Чеховым для всех и для себя об евреях, и эта книга является попыткой такого прочтения.

В качестве приложения здесь помещены «еврейские» произведения Чехова и воспоминания о нем Исаака Альтшуллера — одного из тех, кто был наиболее близок к нему в последние годы его жизни.

АНТОН И ЕГО БРАТЬЯ

На всякий случай напомним, что Антон Чехов родился в Таганроге 17 (29) января 1860 г.

Семья его была, по нашим нынешним представлениям, огромна. Ее члены поддерживали постоянные отношения с родней по отцовской и материнской линиям. Мир Антона, таким образом, был густонаселенным, и самыми близкими ему людьми в этом мире детства были его родные братья — Александр, Николай, Иван, Михаил, сестра Мария, отец и мать.

Отец Антона — Павел Егорович — был сыном выкупившего себя на волю крепостного крестьянина. Мать — Евгения Яковлевна, в девичестве Морозова, принадлежала к мещанской семье также с весьма недавним крепостным прошлым и с примесью украинской крови, о чем постоянно помнил Антон, говоривший, что по бабке он — хохол и потому якобы ленив и тяжел на подъем.

Мужская часть этих семей в «поколении отцов» занималась в основном торговлей — своей или в услужении у более зажиточных купцов. Коммерческая удача и Чеховым, и Морозовым не сопутствовала, призрак разорения и нищеты постоянно витал над ними.

Генетическая память о крепостной зависимости и экономическая неуверенность порождали рабские чувства — страх и озлобленность, ненависть — вечные спутники русской души, как говаривал Некрасов. Анализировать объективные причины своих неудач эти люди не умели и предпочитали видеть их в кознях конкурентов. А среди таких конкурентов в тех местах — в Ростове, Таганроге, Нахичевани — было немало инородцев: греков, армян, итальянцев и, конечно, евреев.

Несмотря на некоторые послабления, позволявшие евреям преодолевать южную часть «черты оседлости» и проникать

в относительно недавно захваченное Российской империей Приазовье, активной еврейской общины в Таганроге не было, чего нельзя было сказать о влиятельных, но замкнутых национально-семейных объединениях армян и греков. Таким образом, евреи были самым незащищенным меньшинством в городе, и эту незащищенность усугубляла их нехристианская, в отличие от армян, греков и итальянцев, религиозная ориентация.

Все это приводило к тому, что в русских мещанских семьях евреи становились объектом если и не ненависти, то издевательств или, в лучшем случае, постоянных насмешек. Презрение к еврею — к жидам — было непереносимым элементом воспитания подрастающего поколения русских горожан, и в том числе, естественно, Антона и его братьев. Слов «жид» стало частью их родной речи, и отвыкнуть им от него было очень трудно, да и не очень хотелось.

В то же время одной из первых книг в семье Чеховых была полная Библия, и библейские образы и речения из Ветхого и Нового Заветов присутствуют во многих творениях и письмах Антона, в том числе и в переписке с родней. Надо полагать, что осознание того факта, что ветхозаветные святые, пророки и патриархи, как и новозаветные апостолы, и сам Иисус и Богородица принадлежат к тому самому еврейскому племени, представители которого теперь, спустя несколько тысячелетий, живут по соседству здесь, в Таганроге, Антону и его братьям давалось нелегко: у кого повернется язык назвать Иисуса «жидом пархатым», а Богородицу — «старой жидовкой»?

Так закладывались основы двойной морали: в семье еврейские сограждане именовались «жидами», «жидками», «жидюгами» и «жиденятами», потешались над их акцентом, а их имена служили собачьими кличками; в лицо же им говорилось иное и иначе. Такое соединение сознания своего превосходства и вроде бы покровительственной «милости к падшим», видимо, приносило некоторое удовлетворение в собственных житейских невзгодах: все-таки не самые последние! Мысль о том, что кто-то там, внизу, еще несчастнее, весьма утешительна для раба. Но чтобы понять, что бытовой антисемитизм есть неотъемлемая часть психологии раба, последнее прибежище его рабской души, нужно было еще осознать себя рабом, ибо только с момента этого осознания начинается путь к Свободе и Добру.

Эрих Фромм утверждал, что потребность в самоутверждении для человека важнее всех чисто биологических потреб-

ностей, а для самоутверждения необходимы два полюса: объект поклонения, чтобы тянуться к нему, и объект пренебрежения, чтобы чувствовать себя выше его. Фромм здесь недоговаривал, что потребность самоутверждения между самым сильным и самым слабым, и потому презираемым, свойственна рабскому сознанию. Свободный же человек не имеет объектов поклонения и самоутверждается не в человеческой иерархии, а в своих личных стремлениях, он не способен к унижению ближнего. Однако изначально свободные люди, от рождения чуждые рабскому, стадному инстинкту, крайне редки, и для большинства путь к освобождению сложен и мучителен, немногие достигают цели. Из всех братьев Чеховых до конца прошел этот путь только Антон.

*И научить Добру людей свободных
прекраснее, чем волю дать рабам.*

Семейный бытовой антисемитизм Чеховых не был воинственным и агрессивным, и братья вряд ли могли бы оказаться в хоре мальчишек из гениального чеховского рассказа «На пути», редевших по случаю «светлого праздника»:

*Гей ты, хлопчик маненький,
Бери ножик тоненький,
Убьем, убьем жида,
Прискорбного сына.*

И двери скромного домика Чеховых, и — в определенной степени — их сердца были открыты для уморительного еврейского мальчика, называвшего Александра «Сашенькѣх», и для «жиденят-гимназистиков». То немногое, что осталось в документальной памяти от этого времени, свидетельствует об искренней доверительности и серьезности этих отношений. Сошлюсь на письмо Антона от 8 мая 1881 г. своему приятелю-соученику по таганрогской гимназии Соломону Крамареву.

Письмо начинается обращением, не оставляющим сомнений в доверительности и дружественности их отношений. Возможно, это обращение повторяет памятные им обоим школьные «подначки»: «Мудрейший, а следовательно, и ехиднейший Соломон!» Затем следует информация об общих знакомых, среди коих и некий Гольденвейзер. Потом — шуточное приглашение в Москву, где «таганрожцам счастливится»,

и успокоительные слова о том, что в Москве «Биконсфильдов, Ротшильдов и Крамаревых не бьют и не будут бить. Где люди делом заняты, там не до драк, а в Москве все делом заняты». И далее: «Когда в Харькове будут тебя бить, напиши, я приеду. Люблю бить вашего брата-эксплуататора». Заканчивается это письмо шуточными пожеланиями: «Да приснится тебе Киево-Елисаветградское побоище, юдофоб Лютостанский и сотрудники «Нового времени»! Да приснится тебе, израильянин, переселение твое в рай! Да перепугает и да расстроит нервы твои справедливый гнев россиян!!!»

Эта заключительная «шутка» показывает, что аполитичный студент-медик второго курса Московского университета и начинающий литератор Антон Чехов на двадцать втором году своей жизни был хорошо осведомлен о состоянии «еврейского вопроса» в России — о погромах, активных юдофобах и антисемитских шайках, вроде редакции «Нового времени». Был осведомлен, но не считал все это опасными явлениями, и в приписке к этому письму он еще раз зовет своего Соломона в Москву: «Приезжай литературой заниматься. Это удовольствие в Харькове невозможно... Приезжай!!! Все дешево. Штаны можно купить за гривенник! А патриотизму... сколько!!! (задыхаюсь...)».

Такие вот настоятельные приглашения вместе «позаниматься литературой» и «позадышаться от московского патриотизма» получил от Чехова Соломон Крамарев, живший в то время в Харькове на тихой Рымарской улице и учившийся в Харьковском университете. Естественно, что подобная нескрываемая, откровенная ирония по поводу «справедливого» юдофобского «гнева россиян» и удушающего московского «патриотизма» в письмах Чехова к его нееврейским адресатам начисто отсутствуют. Двойная мораль в действии!

В отличие от «мудрейшего, а следовательно, и ехиднейшего» Соломона Крамарева, братья Чехова ринулись в старья и новья столицы с отвагой мотыльков, летящих на огонь. Через Московский университет один за другим прошли старший брат Александр, Антон и самый младший — Михаил. Николай, что был старше Антона на два года, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. И только Иван завершил свое образование в Таганроге, сдав там после гимназии экзамен на приходского учителя, но и его дальнейшая судьба была в значительной мере связана с Москвой, Подмосковьем и срединной Россией. В Москве же получила образование и сестра их — Мария, окончившая Московское Фила-

ретовское женское епархиальное училище, а затем историческое отделение историко-филологического факультета Московских Высших женских курсов проф. В.И.Герье. Поработав в частной московской женской гимназии, она затем поступила в Строгановское училище.

Став москвичами, Антон и его братья не забывали о Таганроге. Этот город и его жители постоянно присутствуют в их письмах и воспоминаниях. Таганрогская жизнь отразилась и на интимных вкусах и пристрастиях: яркие краски и рельефные лица армянок и дочерей Леванта — гречанок и евреек стали в их подсознании, по крайней мере, для Александра, Антона и Николая, идеалом женской красоты.

Немного личных воспоминаний

В 60-х годах уходящего века автору этих строк приходилось по казенной надобности довольно часто бывать в Таганроге. Иногда в этих поездках дела требовали задержаться на выходные дни, и если на дворе было лето, то усидеть в специфической атмосфере таганрогского «хилтона» — странноприимного «дома братьев Багдасаровых», носившего, кажется, название «гостиница «Советская», а может быть — «Центральная», становилось невозможно, и я сам, или со своими случайными спутниками, пересекал полуостров в направлении городского пляжа. К тому времени анкетный национальный состав этой «второй Одессы» выровнялся: итальянцы давно покинули страну и присутствовали здесь только в виде памятника Джузеппе Гарибальди, евреев, среди которых были и те, кто помнил Чеховых, расстреляли поблизости от города нацисты, а уцелевшие «инородцы» стремились «обрусеть», чтобы стать достойными представителями уникального «советского народа». И только на старых кладбищах и на пляже ощущалось подавленное «светлым будущим» некогда царившее здесь смешение племен. И глядя на девичьи тела, в которых, вопреки «паспортным данным», проступали чарующие женские образы античного Восточного Средиземноморья, я понимал Антона Чехова и его братьев, и десять лет спустя помнивших красоту Розы Мейерзон.

«Я черна, но прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы», говоря словами Суламиты, или, говоря словами двадцатисемилетнего красавца Антона Чехова, оказавшегося

в своем Таганроге после долгого отсутствия: «Барышень чертова пропасть: белобрысые, черноморденькие, гречанки, русские, польки... Хорошеньких много, так много, что я жалею, что я не Мишка, которому так нужны хорошенькие. Большинство здешних девиц сложено хорошо, имеет прекрасные профили...» (Чеховым, 7 апреля 1887 г.).

Закончив гимназию в родном городе, «таганрогский мещанин» Антон Чехов «догнал» свою семью, переехавшую за три года до этого в Москву, где тогда уже обосновался старший брат Александр, и поступил в Московский университет. Постоянная нужда, поиск дополнительного заработка, опыт старшего брата и, вероятно, предчувствие или, может быть, уже ясное ощущение своего литературного дарования привели его в журналистику. В уже упомянутом письме Соломону Крамареву Чехов пишет, что «занятие литературой» дает ему 150 рублей в год и что уроки в Москве достать трудно. Но через год с небольшим он знакомится с редактором-издателем петербургского юмористического журнала «Осколки» Николаем Лейкиным, и необходимость в «уроках» полностью отпадает. Интенсивность сотрудничества Чехова с этим журналом увеличивается, его заработки растут. Начинается постоянная деловая, но насыщенная личными мотивами переписка Чехова и Лейкина, длившаяся многие годы.

В юморесках и рассказах Антоши Чехонте того, «осколочного», периода еврейская тема почти не присутствует: лишь иногда о ней смутно напоминают отдельные словечки, попытки воспроизвести какой-то невероятный акцент, видимо, представлявшийся Чехову еврейским.

Но в то же самое время, по оценкам биографов — примерно в период обмена письмами с Соломоном Крамаревым, — в творчество Чехова приходят первые «серьезные» евреи: Абрам Абрамович Венгерович и сын его Исак — герои пьесы, оставленной им без названия и в сценической истории именовавшейся по фамилии главного действующего лица — «Платонов».

Чтобы у зрителя не было никаких сомнений, с кем он имеет дело, Венгерович сопровождает свое первое же появление на сцене словами:

— Жарко! Эта жара напоминает мне, жиду, Палестину.

Не менее характерна и его реплика в ответ на сообщение Трилецкого о том, что тот, играя в шахматы на деньги, «обчи-

стил» хозяйку имения, где происходит действие, — вдову генерала Анну Войницеву на десять рублей:

— Правильно, вы, доктор, настоящий иерусалимский дворянин, — говорит по этому случаю Абрам.

Чем же занимается этот «богатый еврей», как в списке действующих лиц обозначен автором Абрам Абрамович?

Чтобы получше разобраться в этом, казалось бы, простом вопросе, необходимо, на мой взгляд, попытаться проанализировать внутрисполитическую обстановку в России в то время, когда двадцати — двадцатидвухлетний Антон Чехов создавал свою первую пьесу.

Чехов появился в Москве, когда еще не спала волна антисемитизма, поднятая стараниями Аксаковых, относительно недавно почившего Достоевского и своры нововременцев во главе с Сувориным. Наибольший шум в русском обществе того времени произвели не государственнические фантазии Ивана Аксакова, не «Книга Кагала» виленского выкреста Брафмана (1869) и не книга другого выкреста Гриневича «О глетворном влиянии евреев на экономический быт России и о системе еврейской эксплуатации» (1876) с одновременным выступлением этого же выкреста в Обществе для содействия русской торговле и промышленности о злоупотреблениях промышленников и торговцев-евреев, опубликованным в «Новом времени» в том же 1876 г. и вдохновившем Достоевского на «еврейские страницы» «Дневника писателя». Кстати, некоторые строки письма Соломону Крамареву, в том числе упоминания Биконсфилда и Ротшильда, косвенно свидетельствуют о знакомстве Чехова с «мыслями» Гриневича — Достоевского. Последней же и наиболее впечатляющей каплей этого мутного потока оказался погромный фельетон Алексея Суворина «Жид идет» (1880). Как тогда еще иногда случалось, вспышка людоедского юдофобства вызвала довольно активный протест так называемых филосемитов, и в ответ на злобный суворинский выпад в печати появились статьи известного русско-украинского писателя Данилы Мордовцева («Мордовец») «Письмо христианина по еврейскому вопросу» (1882), гениального философа Вл. Соловьева «Еврейство и христианский вопрос» (1884). И даже упомянутый Чеховым в письме к Соломону Крамареву «юдофоб Лютостанский» выпустил сочинение «Современный взгляд на еврейский вопрос» (1882) с отказом от своих прежних юдофобских взглядов.

В это же время Николай Лесков по просьбе еврейской общины С.-Петербурга работает над очерком «Еврей в России»,

предназначенным для комиссии фон Палена. Этот очерк был завершен и анонимно опубликован в 1884 г., но не предназначался к продаже. Именно в период интенсивной работы над ним Лесков знакомится с Чеховым: «С Лейкиным приезжал и мой любимый писака, известный Н.С.Лесков. Последний бывал у нас, ходил со мной в Salon, в Соболевские вертепы... Дал мне свои сочинения с факсимиле. Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: «Знаешь, кто я такой?» — «Знаю». — «Нет, не знаешь... я мистик...» — «И это знаю...» Таращит на меня свои старческие глаза (Лескову было 52 года! — Л.Я.) и пророчествует: «Ты умрешь раньше своего брата». — «Может быть». — «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши». Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу. Человечина, стоящий внимания... Разъехались приятелями» (Брату Александру, 15–28 октября 1883 г.).

Симпатия Чехова к Лескову, «помазавшему» его на писательство, как Самуил Давида на царство, и установившиеся у них отношения, вероятно, вполне откровенные, если учесть, что описанный им в письме к брату разговор происходил, когда они возвращались от «девочек» (в Соболевом переулке располагались московские дома терпимости), позволяют предположить, что их беседа касалась и «еврейского вопроса», занимавшего тогда Лескова. И конечно, можно было бы ожидать, что ряды филосемитов пополнятся молодым Чеховым.

Но этого не случилось, и Абрам Абрамович Венгерович занимается в его пьесе как раз тем, о чем предупреждали русский народ выкрест Гриневиц и обрусевший поляк Достоевский, то есть распространением своего «тлетворного влияния на экономический быт России», захватывая, правда, не вооруженным путем, а на торгах имение Анны Войницевой, а его собственное богатство основывается на «спавании» русского народа, поскольку ему принадлежат семьдесят два кабака.

Действие этой пьесы происходит «в одной из южных губерний России», иначе говоря, на территориях, не так давно (вместе с проживавшими там многие сотни лет евреями) захваченных Российской империей. Вероятно, это не случайно: Чехов понимал, что вне черты оседлости в какой бы то ни было влиятельной роли некрещеный еврей нетипичен. Знал он и о том, что евреи были лишены права владения землей, и Абрам Венгерович, приобретая имение, действует через подставное лицо.

Можно было бы подумать, что молодой Чехов, как бы предчувствуя будущую роль Суворина в своей судьбе, принял на веру болтовню его грязной газетки и мировосприятие суворинского круга литераторов и журналистов. Но и это оказывается не совсем так: вершить разорение Анны Войницевой Венгеровичу помогает исконно русский человек — купец Тимофей Гордеевич Бугров, который не только оформил на себя его покупку, но и сам скупил векселя ее покойного мужа, чтобы опротестовать их.

— Хи-хи-с... Дружба дружбою, знаете, а денежки врозь... Коммерция! Проклятое дело такое, — поясняет Войницевым свои действия этот рыцарь русской коммерции.

Надо полагать, что если бы этот сюжетик разрабатывал какой-нибудь верный суворинец, то в первых помощниках у Абрама непременно ходил бы в соответствии с «законом кагала» его родной сын Исак и прочие представители «еврейской мафии», но у Чехова Исак весьма далек от коммерции. Он студент, погряз в личных делах и вместе со всеми прочими мужчинами в пьесе искренне любит и желает прекрасную генеральшу Анну Войницеву. Такое вот необычное поведение молодого еврея.

«Подвиги» же Абрама Венгеровича не исчерпываются чисто коммерческими махинациями, и здесь мы подходим к одной из главных, может быть, мистических особенностей чеховского творчества. Дело в том, что острый и критический, политически незаангажированный и незамутненный идеологической или философско-религиозной пеной взгляд Чехова проникал значительно дальше и глубже в туманное будущее человечества, чем взгляд не только Достоевского, писавшего, по словам Чехова, «длинно и нескромно», но и любимого им Льва Толстого, с их явно завышенными притязаниями на некую пророческую миссию. Это обстоятельство позволило Чехову, по словам В. Лакшина, «распознать в своей современности то, что выступит наглядно и обернется болезненными проблемами в веке XX». Добавим: и в веке XXI, и во всем третьем тысячелетии, и вообще до конца человеческой истории.

Этот уникальный дар распознавания будущих бед человечества проявился у Чехова уже в самых первых его творческих опытах, и в частности в этой же пьесе без названия, о которой идет речь и в которой им предсказан будущий поток заказных расправ. Там в одной из картин некий «кабатчик Лев Соломонович» присылает к Абраму Абрамовичу Осипа —

«нехорошего человека», по нынешней терминологии — киллера, и Абрам Абрамович ведет с ним переговоры, чтобы «не убить, а искалечить» Платонова.

— Убивать людей не следует... Для чего их убивать? Убийство — это вещь такая, что... Искалечить, то есть побить так, чтобы всю жизнь помнил, — уточняет свой заказ Абрам Абрамович, и чувствуется, что если уж очень понадобится, то и убить человека ради дела тоже можно.

Казалось бы, все на своих юдофобских местах: кабатчик Лев Соломонович прислал, владелец кабаков Абрам Абрамович нанял киллера «не убить, а искалечить» Платонова... Все, можно сказать, по «Новому времени», но... Через несколько картин уже русский человек Михаил Васильевич Платонов «нанимает» того же Осипа, чтобы тот ограбил Венгеровича-младшего, чтобы «не бил его, а только снял золотую цепь». И тут тоже чувствуется, что если понадобится, то и Михаил Васильевич «закажет» и побои, и убийство, и в этом «плохой» еврей и «плохой» русский абсолютно равны, как и в случае совместных усилий еврея Абрама Венгеровича и русского Тимофея Бугрова по разорению генеральши Войницевой. Этот мотив наднациональной сущности греха и преступления, подлости и предательства еще не раз прозвучит в творениях Чехова, затрагивающих еврейскую тему, и лишь один раз он прямо выскажет свои мысли о русско-еврейских взаимоотношениях в письме к Суворину-младшему, пытаюсь воззвать к совершенно отсутствующему у такого сорта людей здравому смыслу. Но об этом — в свое время и в своем месте.

А в пьесе о Платонове и К° есть и такой знакомый всем чисто еврейский штришок: полагать всех знаменитых людей евреями.

— Сколько у нас настоящих поэтов, не Пушкиных, не Лермонтовых, а настоящих: Ауэрбах, Гейне, Гете, — провозглашает студент Исак Венгерович, и в ответ на возражение Платонова, что Гете — немец, решительно обрывает его:

— Еврей! Знаю, что говорю.

Смешно, но истинная правда, потому что у Чехова все — правда, одна правда и только правда.

ШИНА ДНЕИ

Литературные успехи расширяют круг знакомств, и среди адресатов в эпистолярном наследии Чехова появляются Мария Киселева, Виктор Билибин, Леонид Трефолов, Лиодор Пальмин и, наконец, Алексей Суворин.

В переписке этого времени, вернее в ее фрагментах, относящихся к евреям и еврейству, действует и строго соблюдается все та же обиходная двойная мораль: в письмах к членам семьи и единомышленникам используется слово «жид» и производные словечки, а к «сомнительным адресатам», когда нет уверенности во взаимопонимании в «еврейском вопросе», еврей называется «евреем». Так, например, слово «жид» отсутствует в более чем полутора сотнях писем к Лейкину, хотя обсуждаемый в их переписке круг вопросов то и дело касается литераторов еврейского происхождения, и даже изобретенное то ли Чеховым, то ли Лейкиным для обозначения редактора-издателя «Новостей дня» и «Русского сатирического листка» Абрама Липскерова слово «еврюга» звучит в контексте переписки предельно доброжелательно.

Зато эта доброжелательность исчезает, когда отпадает необходимость церемониться, и, например, поручая брату передать письмо выкресту Александру Левинсону, издававшему «Сказки Мельпомены», Чехов писал: «Жалею, что заставляю тебя, беднягу, шляться по 10 раз к этим жидам» (Ал. Чехову, июль 1884 г.).

Таким человеком был Антон Чехов, когда евреи появились в его собственном доме и в довольно большом количестве.

Чтобы понять некоторые ситуации, возникавшие в жизни молодого Чехова, нужно попытаться по возможности точнее представить себе, каким он был. В бывшем «советском» литературоведении с легкой руки первого литературного воз-

дя — Максима Горького, знавшего Чехова лично, но в более поздний период его жизни, утвердилось представление о нем как о человеке за пределами скромном и деликатном. В своих отрывочных заметках о Льве Толстом Горький вспоминает, как граф спросил Чехова:

— Вы много распутничали в молодости?

Чехов, по словам Горького, будто бы смутился и пробормотал нечто невразумительное, а Толстой, не дождавшись от него ответа, сообщил:

— Я был неутомимый ебарь.

Такая сдержанность Чехова в мужской компании в традиционных разговорах «про баб» на фоне весьма нерешительных, в изображении мемуаристов, свадебных намерений (Авилова, Мизинова) и в конце концов женитьбы на постоянно отсутствующей в доме избраннице (Книппер) порождала применительно к нему эпитеты типа «скромный как девушка» и впечатление, что речь идет чуть ли не о девственнике, изучавшем физиологию и психологию интимных отношений по медицинским учебникам и по любимым книгам Васисуалия Лоханкина о мужчинах и женщине.

Ни Горький, ни тем более Толстой не знали о том, что Чехов задолго до этого разговора в своих письмах практически ответил на каверзный вопрос «зеркала русской революции», написав:

«Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом...» (А.Плещееву, 3 ноября 1888 г.), и еще:

«Распутных женщин я видывал и сам грешил многократно...» (А.Суворину, 25 ноября 1888 г.).

В этом же письме Суворину Чехов, не стесняя себя в выражениях, подробно и явно на основании личного опыта анализирует чисто технические возможности интимной близости в реальных условиях русского и европейского города с учетом конструкции мебели и женской одежды того времени.

Фразы об этом личном интимном опыте в некоторых даже «полных» публикациях писем Чехова отсутствуют как «неудобные для печати», но в этих же собраниях есть уже упомянутое воспоминание о посещении вместе с Николаем Лесковым «Соболевских вертепов» — публичных домов в Соболевом переулке и «Salon»'а — «Салона де варьете» с канканом. Весьма многочисленны в переписке Чехова и рассказы о посещениях ресторанов в Москве и Питере. А вот что он писал И.Леонтьеву-Щеглову 20 декабря 1888 г.:

«Отчего Вы так не любите говорить о Соболевом переулке? Я люблю тех, кто там бывает, хотя сам бываю там так же редко, как и Вы. Не надо брезговать жизнью, какова бы она ни была».

Есть в его переписке и свидетельства того, что его взгляды и принципы в этой части с годами не менялись:

«Мне нужно 20 тыс. годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шелковой сорочке» (А.Суворину, 19 января 1895 г.).

Эти строки, чудом удержавшиеся в «полном» СС, и другие, глубоко спрятанные от «советского» и мирового читателя строки, «открытые» совсем недавно, отражают в присущей Чехову закодированной форме еще одно его пророчество — о той значительной роли, которую предстояло играть сексу, правде о сексе и о реальных сексуальных отношениях в литературе и искусстве XX и последующих веков.

Чтобы понять, каким был Чехов во времена его первых шагов на литературном поприще, нужно представить себе высокого, стройного, широкоплечего молодого человека редкой, вернее — редчайшей земной красоты с рельефными и в то же время очень подвижными мужественными чертами лица и светящимся, даже сверкающим взглядом слегка потюрокски прищуренных глаз из-под соболиных бровей вразлет. По свидетельству современников, ни одна фотография и ни один портрет не могли передать очарования его облика. «Неуловимым» назовет его лицо великий портретист В.Серов. «Он был красавец», — просто и лаконично скажет о нем знаменитый художник К.Коровин. Несколько пространнее выскажется А.Куприн: «Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное лицо, какое только мне приходилось встречать в жизни».

К двадцати двум годам он был избалован женским вниманием и общением, в том числе интимным, и этот опыт легко угадывается в «Цветах запоздалых» — повести о великой любви, повести, стоящей особняком в ряду его творений, подписанных псевдонимом «Антоша Чехонте». Ну а к моменту знакомства его с подругой и соученицей сестры Марии по Высшим женским курсам — Дуней (Евдокией Исааковной) Эфрос он был зрелым двадцатипятилетним мужчиной, сознающим свою мужскую привлекательность, а может быть, и неотразимость. По свидетельству Марии, Дуня действительно увлеклась Чеховым. Да и ему она не была безразлична.

По стечению обстоятельств этот ранний роман Чехова сто (!) лет находился за пределами внимания его многочисленных биографов. Сначала распространению информации о нем препятствовала Мария Павловна, считавшая, что его подробности, с одной стороны, дискредитируют ее подругу, а с другой — выставляют в неблагоприятном свете ее гениального брата. До конца дней своих она противилась публикации писем Чехова Билибину — единственных документов, в которых отразились эти события, и только после ее смерти они появились в чеховском томе «Литературного наследства» (1960). Однако к этому времени Суслик, снова захвативший в свои крысиные лапки идеологические вожжи в советской империи, затеял глубоко эшелонированную кампанию по «обезьевреиванию» русской и мировой культуры, и в этих условиях исследование связей «истинного арийца» — «этнически чистого» Чехова с еврейкой оказалось на одной пятой (включая «соцлагерь») части суши просто невозможным.

У истории несостоявшейся женитьбы молодого Чехова есть своя предыстория. В начале 1886-го он писал брату Александру — так, между прочим: «Я еще не женился и детей не имею». Мысли о скором браке стали навязчивыми, как это часто бывает в жизни, после женитьбы приятеля — П. Розанова. 12 января Чехов, согласившийся быть шафером, хорошо погулял на этой свадьбе, и той же зимой намеревались жениться В. Билибин и А. Янов. В письме к «женатому коллеге» П. Розанову Чехов писал обо всем этом не без приятельской зависти, спрятанной в шутку и традиционно иронические пассажи по поводу преимуществ семейной жизни. Но это была и автоирония:

«Брррр! До сих пор еще не пришел в чувство после Татьяны (т.е. 12 января, Татьянина дня.— Л.Я.). У Вас на свадьбе я нализабонился важно, не щадя живота. От Вас поехали с С.П. (Успенским.— Л.Я.) в «Эрмитаж», оттуда к Вельде (московский ресторан.— Л.Я.), от Вельде в Salon... В результате: пустое портмоне, переменные калоши, тяжелая голова, мальчики в глазах и отчаянный пессимизм. Не-ет, нужно жениться! Если Варвара Ивановна (жена П. Рязанова.— Л.Я.) не найдет мне невесты, то я обязательно застрелюсь. В выборе невесты пусть она руководствуется Вашим вкусом, ибо я с 12-го января сего года начал веровать в Ваш вкус. Пора уж и меня забрать в ежовые, как Вас забрали...» (14 января 1886 г.).

Конечно, Чехов не ошибался, когда писал в том же письме, что молодоженам «теперь и не до приятелей, и не до их

писем». Все пришлось делать самому. Стремительно развился и столь же быстро закончился чеховский «еврейский» роман, и основные его веки, как уже говорилось, прослеживаются в письмах Чехова к Билибину:

18 января 1886 г. «...Вчера, провожая домой одну барышню, сделал ей предложение... Благословите жениться».

1 февраля 1886 г. «Теперь о невесте и Гименее... Женитьба моя — увы и ах! Цензура не пропускает... Моя она — еврейка. Хватит мужества у богатой жидовочки принять православие с его последствиями — ладно, не хватит — и не нужно... И к тому же мы уже поссорились... Завтра помиримся, но через неделю опять поссоримся... С досады, что ей мешает религия, она ломает у меня на столе карандаши и фотографии — это характерно... Злючка страшная... Что я с ней разведусь через 1–2 года после свадьбы, это несомненно...»

14 февраля 1886 г. «На днях познакомился с очень эффектной француженкой, дочерью бедных, но благородных буржуа... Зовут ее не совсем прилично: M-lle Sirout...» (Это была еще одна подруга Марии по тем же самым курсам.)

28 февраля 1886 г. «Я еще не женат. С невестой разошелся окончательно. То есть она со мной разошлась. Но я револьвера еще не купил и дневника не пишу. Все на свете превратно, коловратно и относительно».

11 марта 1886 г. «С невестой разошелся до *non plus ultra**. Вчера виделся с ней, поговорил о чертиках (чертики из шерсти у нас в Москве модная мебель), пожаловался ей на безденежье, а она сказала, что ее брат-жидок нарисовал трехрублевку так идеально, что иллюзия получилась полная... Больше я Вам не буду о ней писать».

В том же письме — полезный совет: «Если Вы не пугаетесь сравнений, то Вы как фельетонист подобны любовнику, которому женщина говорит: «Ты нежно берешь... Грубее нужно!» (А *groros***): женщина та же курица — она любит, чтобы в оный момент ее били»).

Чехов выполнил свое обещание, и в письме Билибину от 4 апреля 1886 г. упоминаний о невесте Дуне уже нет, но зато появилась такая вот грустная сентенция: «Батенька, неужели нам уже скоро 30 лет? Ведь это свинство! За 30-ю идет старость...»

Таков был Чехов.

* крайней степени (лат.).

** Кстати (фр.).

Исчезнув из писем Билибину, Дуня, как подруга Марии, остается возле Чехова. Она и ее близкие — не единственные евреи в окружении Чехова. Почти за год до нее там появляются братья Левитаны — Адольф и Исаак — оба художники. Чехов особенно выделял Исаака, и в строках его писем, когда дело касается великого Левитана, шутки смешаны с искренней заботой и тревогой:

«Со мной живет художник Левитан ... ярый стрелок. Он-то и убил зайца. С беднягой творится что-то недоброе... Хотел вешаться... Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю... Словно бы легче стало...» (Н.Лейкину, 9 мая 1885 г.);

«Левитан живет в Максимовке. Он почти поправился. Величает всех рыб крокодилами и подружился с Бегичевым, который называет его Левиафаном» (М.Чехову, 10 мая 1885 г.);

«На днях в один день мои домочадцы съели 16 штук уток и тетеревов, застреленных моим приятелем художником И.Левитаном. Грибов нет» (Н.Лейкину, 17 июля 1885 г.);

«Левитан уехал в Крым» (М.Чехова — М.Киселевой, 29 марта 1886 г.);

«У нас великолепно: птицы поют, Левитан изображает чеченца, трава пахнет. Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал жид Левитан, держащий в Бабкине ссудную кассу» (Ф.Шехтелю, 8 июня 1886 г.);

«Помните, как Вы, я и Левитан ходили на тягу» (Е.Сахаровой, 28 июля 1886 г.);

«Левитан закружился в вихре» (М.Киселевой, 21 сентября 1886 г.);

«Левитан же, которому я послал письмо, до сих пор не был у меня. Сегодня ему послано другое письмо, через его брата» (Н.Лейкину, 8 декабря 1886 г.).

Упомянутое здесь письмо, как и все остальные письма Чехова Левитану, было сожжено его братом Адольфом. В архиве Марии Чеховой сохранилась записка «Письма все сжечь, не читая, по моей смерти. Левитан». К сожалению, Адольф Левитан оказался более исполнительным, чем другой еврей — душеприказчик Франца Кафки, вопреки его воле сохранивший его наследие для человечества.

В одном из писем Чехова, там, где «Левитан закружился в вихре», еврей-художник соседствует с Дуней: «Ма-Па (Мария. — Л.Я.) видается с длинноносой Эфрос... Едва я кончил письмо, как звякнул звонок, и я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, франтовской костюм, истощенный вид...» (М.Киселевой, 21 сентября 1886 г.).

Как раз во время бурного романа с Дуней в литературной и жизненной судьбе Чехова появляется Алексей Суворин, и начинается его сотрудничество с «Новым временем». 15 февраля 1886 г. на страницах этой газеты был опубликован первый рассказ, подписанный его именем (Ан. Чехов), а не псевдонимом. 21 февраля он пишет Суворину письмо, положившее начало их многолетней переписке, и посылает ему при этом письмо свою «Ведьму», немедленно (8 марта 1886 г.) появившуюся на страницах «Нового времени» и весьма неоднозначно воспринятую читателями.

У Чехова, добровольно взвалившего на себя бремя материальной ответственности за ту наиболее беспомощную часть семьи, которая жила вместе с ним, появилась надежда выйти из состояния непрерывного балансирования на грани нищеты (мотив безденежья или угрозы безденежья принижает всю его переписку этих лет). Ибо и сама идея женитьбы на «богатой жидовочке», и постоянные, вроде бы шуточные разговорчики о возможном браке Чехова с «купеческой дочкой» отчасти отражали этот перманентный кризис семейного бюджета.

О своих надеждах на сотрудничество с суворинской газетой Чехов пишет, как всегда, — и в шутку, и всерьез:

«Черговски я богат теперь! Помилуйте, у Суворина работаю!» (М.Дюковскому, 17 февраля 1886 г.);

«Что бы там ни говорили, а он (Суворин. — Л.Я.) хороший честный человек: он назначил мне по 12 коп. со строки» (В.Билибину, 28 февраля 1886 г.);

«Ведьма» в «Новом времени» дала мне около 75 руб. — нечто, превышающее месячную ренту в «Осколках» (В.Билибину, 11 марта 1886 г.).

В апреле 1886 г. Чехов едет в Петербург, где лично знакомится с «хорошим, честным человеком» — А.Сувориным и с редакцией «Нового времени». Но и в своих восторженных письмах из Петербурга он не забывает о Дуне:

«Будет еще письмо Дунечке, Сирусичке и прочим моим слабительным слабостям» (М.Чеховой, 25 апреля 1886 г.);

«Хотя у Эфрос и длинный нос, тем не менее остаюсь с почтением... Я купил Эфрос шоколаду» (М.Чеховой, 6 мая 1886 г.).

Вскоре после возвращения Чехова в Москву Дуня Эфрос уехала «на воды» — в Ессентуки и в Железноводск, после чего следует ее обмен письмами с Чеховым. Первой написала она:

«Многоуважаемый Антон Павлович. Вас, может быть, удивит мое письмо, но я не могу найти другого способа узнать о

вас всех, что делается у вас, как живете. Три письма я отправила Вашей сестре и ни одного ответа. Чему это приписать, решительно не знаю. Не заставьте ли Вы ее написать мне, или, может быть, сами не поленитесь написать мне...» (Е.Эфрос — Чехову, 15 июня 1886 г.).

Чехов «не поленился», но его письмо не сохранилось, однако из ответа Дуни можно представить, о чем в нем шла речь:

«Приношу Вам, Антон Павлович, искреннейшую благодарность за Ваше письмо и за то, что Вы так скоро написали мне... Я с Вами совершенно согласна, что у Вас веселее, чем здесь. У Вас есть Машенька или Яденька, над которой проделываются разные опыты и глупость которой заставляет всех смеяться над нею. Вы ставите различные феерии для потехи, здесь ничего подобного нет... О богатой невесте для Вас, Антон Павлович, я думала еще до получения Вашего письма. Есть здесь одна московская купеческая дочка, недурненькая, довольно полненькая (Ваш вкус) и довольно глупенькая (тоже достоинство). Мне кажется, Вам понравится, денег очень много» (Е.Эфрос — Чехову, 27 июня 1886 г.).

В этом же письме Дуня сообщает Чехову о том, что она приедет в Бабкино 15 августа, а пока хотела бы продолжить переписку: «Я надеюсь, Антон Павлович, что Вы не будете жестоки и не захотите меня лишить удовольствия получать Ваши письма».

Ответ Чехова на эту просьбу неизвестен. Возможно, он все-таки «захотел» Дуню «лишить» испрашиваемого ею «удовольствия». Известно лишь то, что примерно в это время он начал писать «Тину».

Не исключено, что одной из причин написания «Тины» было оскорбленное мужское самолюбие Чехова. Чехов был, как тогда говорили, человеком «магнетическим». Это слово в применении к нему я услышал около полувека назад, когда, целуя руку его кумы — Татьяны Щепкиной-Куперник, задержал ее в своей руке. На ее удивленный взгляд я ответил одним словом: «Чехов». Она оставила в моих ладонях свою, целованную Чеховым изящную ручку и сказала:

— Он подчинял своим прикосновением и даже словом, — и, видимо, чтобы у меня не было никаких сомнений в сущности сказанного, добавила: — Рядом с ним возникало желание.

Это его необычное воздействие на окружающих ощущали даже мужчины, и кто-то из его знакомых, кажется Мережковский, сказал о нем, что он очаровывает людей как женщина или ребенок.

Чехов это знал. Об этом его «Шуточка», где женщина теряет волю рядом с мужчиной. Таким был Платонов из его ранней пьесы — «роковой» мужчина, влюбляющий в себя всех женщин, ни к кому не испытывая глубокого чувства. К теме мужского «магнетизма» Чехов не раз возвращался и позднее.

Знал он и о том, что существуют женщины, неподвластные таким чарам и при этом обладающие таким же «роковым» влиянием на мужчин. Чехов ощущал на себе силу таких женщин, стараясь не уступать им и считая такую стойкость делом мужской чести.

Правилась ли ему Дуня? Безусловно. При своем «длинном носе» она была красива нездешней красотой (говорю со слов Марии Павловны, сказанных ею моей родственнице), очаровавшей его еще в таганрогской юности. И вообще, красота евреек была тогда в России притчей во языцех. Свою дань отдали этой красоте и Пушкин в «Гавриилиаде», где Мария, говоря словами, будто бы сказанными Чеховым о Сусанне из «Тины», явно «списана с живой», и писатель пушкинского круга А. Вельтман в своих повестях, и Нестор Кукольник в пьесе «Князь Даниил Холмский», и лично знакомый Чехову филосемит Николай Лесков, и один из главных идеологов русского государственного антисемитизма Иван Аксаков. И даже Гоголь в своей известной картине еврейского быта, написанной, увы, не красками, а грязью и нечистотами, не смог не отметить: «Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка». (Это, пожалуй, единственная фраза в повести «Тарас Бульба», где не употребляется слово «жид» — видимо, эстетическая концепция Гоголя не позволяла соединять его с чем-нибудь красивым.)

Не устоял и Чехов. Но в лице Дуни Эфрос он встретил женщину, неподвластную его собственным чарам, и особенно его убедило в этом ее последнее письмо, где она, вполне разобравшись, что ему нужно (главное — что, а не кто), спокойно (и вполне серьезно!) занялась подбором подходящих ему богатых невест, хотя всего лишь за полгода до этого сама ходила в его невестах. Прочитав это сильное и независимое письмо, Чехов посчитал себя полностью свободным от жалости к своей «слабительной слабости», поскольку эта слабость оказалась столь же сильной, как и он сам. Не исключено, что ему захотелось хоть чем-нибудь вывести ее из себя.

Немало перьев было сломано русско-еврейскими литературоведами, чтобы доказать, что словесный портрет Сусанны

списан с Дуни Эфрос, тем более что ее фотографии неизвестны. Одним из краеугольных камней этой версии было смутное воспоминание Клеопатры Каратыгиной о том, что Чехов подарил ей свою книжку, в которой в оглавлении название «Тина» было подчеркнуто, и на ее вопрос о причинах выделения именно этого рассказа Чехов будто бы ответил уже упоминавшимися здесь словами: «С живой списано». (Эту весьма проблематичную «приказку» некоторые литературоведы почему-то называли «припиской». Книжка же «Рассказы» (Спб.: Изд-во А.С.Суворина, 1888), с дарственной надписью Клеопатре Каратыгиной и вовсе не сохранилась.) Отсюда почему-то делается вывод о том, что эти слова указывают на Дуню. При этом совершенно упускается из виду сексуальная любознательность Чехова, выразившаяся не только в его симпатиях к соболевским борделям. Позднее она проявится в его письмах о дальних странствиях: «Когда из любопытства употребляешь японку, то начинаешь понимать Скальковского, который, говорят, снялся на одной карточке с какой-то японской блядью. Комната у японки чистенькая, азиатско-сентиментальная, уставленная мелкими вещичками, ни тазов, ни каучуков, ни генеральских портретов. Постель широкая с одной небольшой подушкой. На подушку ложитесь вы, а японка, чтобы не испортить себе прическу, кладет под голову деревянную подставку, вот такую (в письме — рисунок подставки. — Л.Я.). Затылок ложится на вогнутую часть. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит, и на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо и при этом, плохо понимая русский язык, указывает пальцами и даже берет в руки, и при этом не ломается и не жеманится, как русские. И все это время смеется и сыплет звуком «тц». В деле выказывает мастерство изумительное, так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Кончая, японка тащит из рукава зубами листок хлопчатой бумаги, ловит вас за «мальчика» (помните Марию Крестовскую?) и неожиданно для вас производит обтирание, причем бумага щекочет живот. И все это кокетливо, смеясь, напевая и с «тц» (А.Суворину, 27 июня 1890 г.).

Как видим, все это явно «списано с живой». А вот и еще одна картинка: «Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской... и где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь» (А. Суворину, 9 декабря 1890 г.).

Эти фрагменты показывают, что Чехову было не чуждо такое, ныне широко распространенное развлечение, как «сексуальный туризм». Но этот вид «туризма» может быть реализован двумя способами: поиском экзотических партнерш в путешествиях либо этническим разнообразием сексуальных объектов («попробовать цыганку», «попробовать еврейку», «попробовать гречанку» и т.д.), как говорится, по месту жительства. И в погоне за этим разнообразием Чехов в своих странствиях по провинциям вполне мог отыскать податливую «живую» еврейку, в отличие от Дуни не стремящуюся к брачным узам, и «списать» с нее свою Сусанну из «Тины», перенеся на родную почву образы, ситуации и даже некоторые черты характера и штрихи портрета героини из переведенного в 1881 г. романа Жана Риппена «Клейкая» (в издании 1911 г. — «Тина», уже под влиянием названия чеховского рассказа), который был тогда в России на слуху. Нечего и говорить о том, что ни «экстракт тления», ни «экстракт, возбуждающий страсти», справедливо увиденные в Сусанне внимательным читателем (В.Бурениным), ничего общего с обликом цветущей и пышущей здоровьем Дуни не имели. Дуня была рассчитана не на одинокую охоту за самцами, а на долгую семейную жизнь, которая ей и была отведена Судьбой, и не «упадок» и «разложение» еврейской нации, в определенной мере декларированные Чеховым в «Тине» в образе Сусанны, а временное торжество мирового антисемитского заговора и сил Зла потребовалось для того, чтобы ее убить в буквальном смысле: Евдокия Исааковна Эфрос, в замужестве Коновицер, погибла в газовой камере лагеря смерти Треблинка в 1943 г., пережив почти на сорок лет своего жениха. При этом дружеские отношения семей Чеховых и Коновицер-Эфрос продолжались до самой смерти Антона и после. Таким образом, если Чехов и хотел «отомстить» Дуне за какие-то личные обиды, то сделал он это лишь выбором темы, а не отражением ее облика и характера в описании еврейской шлюхи.

Другой, на наш взгляд, более вероятной причиной написания «Тины» вполне могла послужить весьма прохладная встреча читателями «Ведьмы». Известно, что в восторге от этого рассказа был Суворин, что сам Лев Толстой относил его к лучшим творениям Чехова, но они оказались в меньшинстве. «Многим она («Ведьма». — Л.Я.) не понравилась... Но что делать! Нет тем, да и черт толкает под руку такие штуки писать...» (В.Билибину, 11 марта 1886 г.).

Чехов был расстроен еще и потому, что «Ведьма» стала непосредственным продолжением его дебюта в «Новом времени», где ему хотелось закрепиться, и он «повысил» ранг действующих лиц и вместо Раисы Ниловны, жены вечно грязного дьячка, живущей в ужасающей, но не пачкающей ее бытовой грязи и ждущей случайных гостей, среди которых были и писарь, и охотник, и почтальон с почтальонной саблей, и еще Бог знает кто, в «Тине» появляется экзотическая дочь «водочного короля» Сусанна Моисеевна, живущая в экзотическом жилище, чуть ли не в готическом замке, и принимающая у себя весь цвет уездного дворянства — и по одному, и всех вместе. И такой расчет Чехова, если он у него был, оказался верным — «Тина» стала литературным событием конца 1886 г.

Конечно, для достижения подобного эффекта присутствие в рассказе еврейки не было обязательным. Он мог быть достигнут за счет откровенного сексуального письма и с какой-нибудь другой экзотической «колдуньей», и поэтому нельзя исключать и такой возможной причины появления Сусанны Моисеевны, как стремление Чехова в самом начале своего общения с Сувориным показать, что ничто нововременское ему не чуждо или, во всяком случае, не противопоказано его творчеству. Об этом, в частности, свидетельствуют такие «ключевые» звукосочетания, как «чеснок», «запах чеснока», «Шмуль», «Янкель» и другие, входившие в словарный запас одного из главных клоунов «Нового времени» — Виктора Буренина, в прошлом талантливый поэт, который, по словам современников, «был надеждой русской литературы, но стал ее позором».

Не стоит забывать и такую возможную причину, как присутствие Чехову, особенно в те годы, озорство, граничащее иногда с литературным хулиганством, когда, по его же словам, «черт толкает под руку такие штуки писать». Ключами к озорным побуждениям Чехова, реализованным в «Тине», могут служить упоминание Юдифи и Олоферна в «Ведьме», библейское имя героини «Тины» и, конечно, веселое предложение Суворину: «Давайте напишем трагедию «Олоферн» на мотив оперы «Юдифь», где заставим Юдифь влюбиться в Олоферна; хороший полководец погиб от жидовской хитрости...» (А. Суворину, 22 ноября 1888 г.).

Отзвук этих побуждений хорошо различим и в «Тине», где Сусанна и «старцы» из неканонизированной главы книги

пророка Даниила по воле Чехова меняются местами: в его повести не «старцы» пытаются соблазнить Сусанну, а она успешно соблазняет их.

«Тина», вызвавшая, по словам Чехова, многочисленные отклики, все-таки не произвела серьезного впечатления на читающую публику, и упоминание некоторых литературоведов о том, что этот рассказ «произвел публичную сенсацию и был воспринят всеми и как антисемитский, и как омерзительно грязный», ничем не подтверждается. Существенной прессы этот рассказ не имел, и из неспровоцированных отзывов известен только отзыв редактора-издателя «Русской мысли» В.Лаврова, переданный Чехову Л.Пальминым: «Тина» Ваша не понравилась ему; говорит: только для «Нового времени» такое и писать» (Л.Пальмин — Чехову, 5 ноября 1886 г.).

Известно также и то, что после «Тины» В.Лавров надолго прекратил переговоры с Чеховым о рассказе для своего журнала.

Лично Чехова, вероятно, очень интересовала реакция женщин на этот рассказ — вспомним эпизод с преподнесением Клеопатре Каратыгиной своей книги с подчеркнутой «Тиной», но впечатления этой актрисы от прочтения рассказа нам неизвестны.

Зато другая женщина — Мария Владимировна Киселева, детская писательница, сверстница Чехова и хозяйка любимого им в те годы имения Бабкино, высказалась более определенно. Посылая ей «Тину», Чехов написал: «...беру на себя смелость поднести Вам печатную повесть о том, как известные литераторы умеют утилизировать знакомство с «чесноком». Посылаемый фельетон дал мне 115 рублей. Ну как после этого не тяготеть к еврейскому племени» (М.Киселевой, 13 декабря 1886 г.).

Учитывая, что в следующем письме Чехов приглашает Киселеву на свой день рождения такими словами: «Блистательный бал с жидовками (Е. и З.Эфрос.— Л.Я.), индейками и Яшеньками (М. и Н.Яновы.— Л.Я.)» (М.Киселевой, 14 января 1887 г.), можно предположить, что он видел в своем адресате единомышленницу в еврейском вопросе.

Киселева, однако, обратила внимание не на еврейскую проблематику рассказа, а на его человеческое содержание: «Присланный Вами фельетон мне совсем и совсем не нравится, хотя я убеждена, что к моему мнению присоединятся весьма немногие. Написан он хорошо — читающие мужчины пожа-

леют, если судьба не натолкнула их на подобную Сусанну, которая сумела бы распотешить их разнузданность; женщины втайне позавидуют ей, но большая часть публики прочтет с интересом и скажет: «Бойко пишет этот Чехов, молодец!» (М.Киселева — Чехову, январь 1887 г.).

Претензии же Киселевой сводились к тому, что в рассказе поднята грязь ради грязи, а не ради сокрытого в человеческой грязи жемчужного зерна. Грязью же, негодьями и негодьяками, писала Киселева, кишит мир, и всем это известно. В своем ответе Чехов повторил слова о «негодях и негодьяках» и был вынужден перевести разговор в область теории литературы, отстаивая свое право изображать мир таким, каким он есть. В его письме, кроме уже процитированного отрывка о жидовках и индейках, ожидающихся на его «именинном балу», есть еще и Левитан в качестве примера соотношения искусства и действительности. Таким образом, евреи есть, а еврейского вопроса нет.

Отметим, что слова Киселевой о том, что мир «кишит негодьями и негодьяками», — единственная цитата из ее письма в ответе Чехова, и это, на мой взгляд, один из ключей к ларчику, где сложены и спрятаны причины написания «Тины»: своим рассказом Чехов ответил на сусальные образы «добрых», «честных» и «несчастливых» евреев в сочинениях писателей филосемитского толка. Чехов в «Тине» декларирует свое убеждение в универсальности человеческих характеров, инстинктивно ощущая, что отсутствие негативных образов евреев в литературе, как это ни парадоксально, является действенным антисемитским фактором, раздражающим даже непредвзятого читателя. Тем самым он провозглашал право евреев быть полноценной нацией, имеющей своих «негодяев и негодяек», своих шлюх и своих преступников, то есть то самое право, которое спустя несколько десятилетий сформулирует В.Жаботинский. Это было еще одним предвидением Чехова. Совесть же его — совесть художника — была спокойна: образ еврейки Сусанны в его творчестве 1886 г. был уравновешен образом русской шлюхи Раисы в «Ведьме».

Но весь этот опыт общения с евреями и художественного осмысления проблем, связанных с существованием евреев в русской среде, вывел Чехова на иные аспекты еврейского вопроса, требовавшие его творческого вмешательства, и об этом — в следующей главе.

ЭТНИЧЕСКАЯ ЦЕНЗУРА

20 января 1942 г. на одной из вилл, расположенных в предместье Берлина на улице Ам гроссен Ванзее, собралась человекоподобная мразь, чтобы «окончательно решить» судьбу первой невесты Антона Чехова Дуни Коновицер-Эфрос, которой шел в это время восемьдесят первый год. «Гости съезжались на дачу» по пригласительным билетам. В них было указано, что в программе совещания — «окончательное решение еврейского вопроса» и «товарищеский» завтрак после завершения обсуждения.

«Окончательное решение еврейского вопроса» не заставило себя долго ждать, и через год с небольшим Дуню, находившуюся в Париже в доме престарелых (ее сын Николай, которого когда-то Чехов пытался приобщить к сочинительству, был в это время в отрядах Сопротивления), вместе с другими, неразобранными по семьям обитателями этого приюта доставили в Треблинку, и в этом концлагере закончился ее земной путь. Кретины в эсэсовской форме и в железных крестах, полученных за «героизм» в массовых убийствах беззащитных стариков и детей, никогда не поверили бы, что эта старая еврейка из Парижа — бессмертна, что ее имени предстоит рядом с именем Антона Чехова жить в веках. Но изменить что-либо в ее посмертной судьбе никакие «фюреры», «вожди» и прочие отбросы человечества уже не могли.

Последней в программе рассматривалась проблема «мишлингов» — полукровок первой и второй степени, а также «смешанных» браков евреев и «арийцев». Видимо, завтрак остывал и по «мишлингам» так до конца и не договорились. Их предлагалось кастрировать, а кое-кого и расстреливать, но поскольку по этому аспекту еврейского вопроса окончательное решение не приняли, то «мишлингам» повезло. У одного из них я брал интервью для фонда С.Спилберга и узнал, что

всех тех из них, кто в последние недели существования «тысячелетнего рейха» находился в Берлине, согнали в отряды для разборки самых тяжелых завалов. Когда я слушал рассказ женщины, пережившей нацистский геноцид, о судьбе ее немецко-еврейской семьи, я вспоминал мучительные раздумья Чехова о перспективах ассимиляции евреев в России вообще и о смешанных браках в частности, и меня не покидало впечатление, что он уже тогда, в восьмидесятых годах XIX века, предчувствовал трагический финал этих попыток некоторой части русского (а в Германии — немецкого) еврейства покинуть свой этнос и влиться в русское большинство и что он, как всегда, своими художественными средствами пытался привлечь внимание и предупредить об опасности, таящейся в этих, казалось бы, вполне позитивных процессах.

Следует отметить, что инициатива обращения евреев в православие в России в XIX веке принадлежала императорской власти, предпринявшей в 1800–1830-х гг. ряд конкретных мер в этом направлении, но натолкнувшейся на активное и пассивное сопротивление самих евреев. Православными евреями стали единицы, а основная масса предпочла сохранить свою религию и национальный уклад. В то же время те, кто последовал за новыми пастырями, действительно уравнились с коренным населением, многие, получив высшее образование, получили дворянство, породнились с русскими дворянскими семьями, и старые русские дворянские и даже аристократические роды, как правило, не только не скрывали, но иногда и гордились примесью еврейской крови (например, русское потомство Шафировых). Так было до тех пор, пока еврейское ассимиляционное движение не начало становиться более массовым, а проблема смешанных браков даже приобрела скандальный характер (имеется в виду «Люцинское дело» 1885 г. об убийстве служанки-украинки с обвинением ее хозяев-евреев, будто бы желавших любыми средствами предотвратить женитьбу на ней их сына). В связанных с этим делом публикациях «Новое время» поддержало идею смешанных браков как скорейший путь к полной ассимиляции и к исчезновению еврейской нации в России, присоединившись, таким образом, к старой государственной точке зрения.

Но все то, что легко решалось на статистическом государственном уровне, существенно усложнялось, когда речь шла о конкретной судьбе, и тому свидетельство — случай из жизни Достоевского, который на шестом десятке познакомился с девятнадцатилетней еврейкой Софьей Лурье из Минска. Переписка Достоевского с ней сохранилась не полностью: по

воспоминаниям ее сына — профессора Калифорнийского технологического института П.Эпштейна, семь писем писателя замотал В.Розанов, и они пропали. Уцелевшие же послания Достоевского исполнены отеческой ласки и заботы о молодой еврейке, и, когда она сообщила, что ее собираются выдать замуж: «За меня сватаются два жениха, один доктор, другой кандидат университета, оба богаты... Мамаша хочет, чтоб я непременно вышла за доктора, красавца и богача, и надворный советник он... Его фамилия Блох... ему 35 лет, а мне еще нет 19» (С.Лурье — Ф.Достоевскому, 13 декабря 1877 г.), писатель ответил: «35 и 19 лет мне не кажутся большой разницей. Не знаю почему, но мне бы самому, лично, хотелось, чтобы Вы вышли замуж за доктора! Одно Вы не написали, какого он закона? Еврей? Если еврей, то как же он надворный советник?» (Ф.Достоевский — С.Лурье, 11 марта 1887 г.). Достоевскому явно хочется, чтобы жених Софьи был евреем, чтобы она осталась в своем кругу (слова «ваш круг» Достоевский дважды повторяет в одном из писем к ней). В своем ответном письме Лурье не сообщила Достоевскому о конфессиональной принадлежности своего жениха, так как решительно ему отказала, и Достоевский, к сожалению, не высказал свои взгляды на ассимиляцию с помощью смешанных браков.

Обращаясь же к середине восьмидесятых годов, необходимо отметить, что тогда, одновременно с проблемой смешанных браков, снова обуждался вопрос о стимулировании усилий по обращению евреев в христианство, реанимированный в значительной мере деятельностью «кишиневского мессии» А.Рабиновича. Но и к этой проблеме отношение общества было неоднозначным. Так, например, газета «Гражданин» всеми силами стремилась внедрить в общественное сознание идею запрета такой ассимиляции, так как, по мнению ее издателя — монархиста-националиста и предвестника нацизма В.Мещерского, патриархальный еврей, исповедующий иудаизм, представляет для империи меньшую опасность, чем еврей, укравшийся в православии и растворившийся в русской культуре, сохранив при этом свои зловредные еврейские гены.

Вот среди таких дискуссий и бурных обсуждений «еврейский вопрос» скрестился с личной судьбой Чехова, принадлежавшего к людям, для которых приоритет человека, приоритет личности перед интересами какого бы то ни было государства был неоспорим. И поэтому его не интересовала судьба империи — он, русский Екклесиаст, знал, что империи приходят и уходят, а остается человек со своими радостями и горем, к какому бы роду он не принадлежал, и только судьбой конкретного человека должен заниматься писатель.

И свою попытку заглянуть в близкое и далекое будущее — свое и такой близкой и желанной красавицы Дуни Эфрос — он не связывал с судьбами государства российского.

Первый его вопрос к оракулу: «Хватит мужества у богатой жидовочки принять православие *со всеми последствиями?*»

Вряд ли Чехова в данном случае волнуют отношения Дуни с ее семьей, поскольку ее отец — почетный потомственный гражданин города Москвы Исаак Эфрос был просвещенным человеком и активным сторонником языковой и культурной ассимиляции. Правда, эту ассимиляцию ему хотелось бы связать с сохранением религиозного и национального еврейского уклада, но для родной и любимой дочери он, вероятно, сделал бы исключение. Чехов же думал, во-первых, о том, как впишется Дуня в его семью, а во-вторых, как она сама будет себя чувствовать в этой чуждой ей среде и не будет ли для нее вечным укором «измена» «своим».

Второй вопрос к оракулу был таким: сколько может продлиться и чем кончится его брак с Дуней?

Ответ на этот вопрос Чехов дает сразу: «Я с ней разведусь через 1–2 года после свадьбы, это несомненно». Оставался только вопрос, как произойдет этот разрыв?

Поиск ответов на все эти вопросы отразился на творчестве Чехова 1886–1888 гг., начиная с пресловутой «Тины», где Сусанна уже в первом же разговоре с незнакомым человеком заявляет о том, что хотя она «еврейка до мозга костей» и «без памяти» любит Шмулей и Янкелей, но ей противна в «семитической крови» «страсть к наживе», и тут же сообщает о своих хождениях в церковь, о любви к русским и французам. И над всеми этими откровениями еврейской шлюхи — картина «Встреча Иакова с Исавом», Исавом, продавшим первородство за чечевичную похлебку и возненавидевшим за это свой же народ. Обреченная на увядание бесплодная Сусанна символизирует те самые *последствия*, о которых писал Чехов Билибину.

Однако такой максимализм Чехова-человека не вполне удовлетворяет Чехова-художника, и он обращается к более подробному исследованию столь сильно волнующего его отказа от своих истоков. Рассказ, содержащий это исследование, озаглавлен им по народному названию растения, в определенный момент отбрасывающего свои корни и пускающегося в казальсь бы бесцельные странствия, — «перекати-поле» (хотя в Природе нет ничего бесцельного!).

Русско-еврейские и еврейско-русские литературоведы уже многие годы силятся доказать, что «в еврейских фигурах у Чехова сконцентрирована огромная отрицательная энергия; что он

негодует, содрогается от отвращения, смеется гневным смехом...», и все это от переживаний по поводу судеб «русской культуры» — в действительности глубоко ему безразличных, поскольку он инстинктивно с первых творческих шагов ощущал наднациональность своего дарования. Не понимая этой вселенской сущности Чехова, «исследователи» от его имени приписывают ему чувства «омерзения», «тревоги», сознания «опасности», исходящей от бывшего Исаака, а ныне Александра Иваныча, его случайного сожителя по гостиничному номеру.

Гораздо глубже понимал Чехова его младший современник и один из столпов сионизма Владимир (Зеев) Жаботинский: «По существу же был Чехов наблюдатель, не ведавший ни жалости, ни гнева, и не любивший ничего, кроме увядающей красоты «Вишневого сада», поэтому еврейские фигуры, изредка попадающиеся в «Степи», «Перекасти-поле», «Иванове», написаны с обычным для этого художника правдивым безразличием» («Русская ласка», 1909).

И действительно, Чехову глубоко безразлична личность и судьба Александра Иваныча из «Перекасти-поля», и он правдиво и отстраненно излагает его историю. Его интересует лишь один вопрос: зачем повзрослевший мальчик из еврейского местечка в Могилевской губернии, из большой семьи, все время возвращавшийся к мысли: «сестра, должно быть, уже вышла замуж», живущий в двух мирах — в мире сегодняшнем и в мире воспоминаний, — переменял свою веру? И Чехов буквально допрашивает своего сожителя, но не получает вразумительного ответа, поскольку декларации «Александра Иваныча» по поводу кончины иудаизма и о том, что «Новый завет» есть естественное продолжение «Ветхого», для Чехова — пустой звук, абракадабра, лишенная всякого смысла. Решить этот вопрос Чехов оставляет читателю, рассчитывая, что он, этот читатель, знает и о принятом в 1882 г. имперском запрещении евреям проживать в сельских местностях даже в черте оседлости, превратившем их местечки в средневековые гетто, и о введенном в 1886 г. ограничении приема евреев в высшие учебные заведения, куда так стремился Александр Иваныч. Рассчитывал он и на то, что его читатель имеет некоторое представление об этих местечках. Сам Чехов в те годы еще не пересекал черты оседлости, и не исключено, что образ местечка, воссозданный им несколькими штрихами в письме к П.Сергеенко от 5 марта 1889 г., возник под впечатлением рассказа Александра Иваныча: «Воображаю я эту Ивановку... Шмули, шмули, шмули без конца... Площадь бурая от навоза, садов нет, реки нет, синагога, церковь с ржавой крышей... А главное — глубокий, глинистый, невылазный овраг, отделяющий Ивановку от мира...» Желание покинуть такое место и уйти

за невылазный овраг в расположенный за ним мир для любого человека является, по мнению Чехова, нормальным, здоровым и, главное, — *законным* и не нуждающимся в оправдании.

Но есть в рассказе «Перекасти-поле», закамуфлированном подзаголовком «Путевые наброски», еще один глубоко законспирированный сюжет. Обозначить его можно как «Путешествие в глубины собственной души», одним словом — «самопознание», и те, кому откроется эта сторона повествования, прикоснутся к гениальному образцу исповедальной прозы. Рассматривая «Перекасти-поле» в контексте жизни Чехова, отметим, что в Святые Горы он поехал после утомительного двухдневного путешествия по всяким веткам Донецкой железной дороги. За первый день он к семи часам вечера добрался до Краматорска, вокзал которого встретил его «духотой, угольным запахом, дамой жидовкой с кислыми жиденятами и 1 1/2 часа ожидания» (Чеховым, 11 мая 1887 г.). К позднему вечеру он был в Славянске, где и заночевал, а наутро продолжил свой путь. В Святых Горах по случаю Николина дня он оказался в числе 15000 паломников. Эта цифра — 15000 — повторяется им в письмах того периода несколько раз — по-видимому, собравшаяся толпа была для него своего рода моделью человечества.

Дальше Чехов-корреспондент сменяется Чеховым-рассказчиком: его попросили принять в свой номер некоего сожителя, так как свободных мест для ночлега в обители уже не оставалось. Сожитель произвел на него *приятное* впечатление: «Молодой человек лет двадцати двух, круглолицый, миловидный, с темными детскими глазами». И еще раз: «это миловидное лицо и детские ласковые глаза». Но тут же смутной волной поднимается подозрение: «было в его лице что-то *характерное, типичное*, очень знакомое, но что именно я никак не мог ни понять, ни вспомнить».

И в первом же разговоре в номере, после откровенного признания соседа: «Я еврей, выкрест... Недавно принял православие», его лицо для Чехова сразу же меняется: «Теперь я уже понял то, чего раньше не мог понять на его лице: и толстые губы, и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта, и правую бровь, и тот *особенный маслянистый блеск глаз*, который присущ *одним только семитам*». Итак, в действие вступило предубеждение: на «миловидном лице» проступили «толстые» семитские губы, а темные *детские ласковые глаза* вдруг приобрели «особенный маслянистый блеск», тоже, оказывается, весьма семитский.

И дальше автор, т.е. сам Чехов, через семейное наследное рабское пренебрежение ближним, через неприятие всего еврейского, через личную нетерпимость к специфическим

чертам еврейского облика и характера на глазах у читателя пробивается к пониманию изначального равенства людей, к пониманию знаменитой формулы: «каждый человек имеет право на жизнь, свободу, независимость и стремление к счастью», и ведет его к этому пониманию не абстрактный образ страдальца, а приключения среди моря житейского и трудный путь, выпавшие на долю молодого еврея, которые он переживает и проходит вместе с ним, мечтающим «вслух об учительском месте, как об обетованной земле».

Слова, завершающие освобождение его души от предубеждения, а может быть, и от ненависти, приходят к нему в ночи, и в этих словах уже нет эллина и иудея: «Не далее как на аршин от меня лежал скиталец; за стенами в номерах и во дворе, около телег, среди богомольцев не одна сотня *таких же* скитальцев ожидала утра, а еще дальше, если сумеешь представить себе всю русскую землю, какое *множество таких же перекаати-поле*, ища где лучше, шагало теперь по большим и проселочным дорогам или, в ожидании рассвета, дремало в постоянных дворах, корчмах, гостиницах, на траве под небом... Засыпая, я воображал себе, как бы удивились и, быть может, даже обрадовались *все эти люди*, если бы нашлись *разум и язык*, которые сумели бы доказать им, что их жизнь так же нормальна, здорова, законна и так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая». Попытка преодолеть этническую «цензуру» оказалась успешной. Конечно, это был только первый шаг к освобождению от страха и ненависти, одна из «капель» «выдавливаемого» Чеховым из себя рабства, рабского мировосприятия, но сам выбор слов — «нормальна», «здорова», «законна», «мало нуждается в оправдании» — свидетельствует о решительности этого шага, об отсутствии пути назад.

Отметим и то, что эти слова и весь рассказ «Перекаати-поле» впервые прозвучали со страниц «Нового времени», на которых как раз в то же самое время бушевала очередная антисемитская истерия по поводу выкrestов, с неблагоприятными целями проникающих, по мнению этой газетки, с помощью православия вглубь русского общества и русского народа. Но для Чехова в лице автора-рассказчика о случайной встрече в Святых Горах самопознание было важнее политических дискуссий, и после того как он сформулировал для себя свою правду в приведенном выше ночном монологе, его взгляд на своего сожителя опять меняется: исчезают толстые губы, особенный маслянистый блеск глаз, и из толпы подобных ему скитальцев, образовавших крестный ход, он выделяется не тем, что «свойственно одним только семитам», а тем, что «лицо его сияло».

И еще одна особенность этого рассказа, контрастирующая с языком и стилем «Нового времени», состоит в том, что в нем, несмотря на присутствие множества евреев — самого Исаака, его семьи, деда, дяди, матери, гонящейся за ним по белу свету, мудрого харьковского студента Грумахера и еще Бог знает кого, ни разу не прозвучало слово «жид» и его производные. Двойная мораль, конечно, оставалась в действии, но справедливость требует отметить, что она распространялась не только на еврейскую тему. Вот, например, слова из этого рассказа в той его части, которая порадовала, как позже писал Чехов, трех архиереев: «Во сне я слышал, как за дверями жалобно, точно заливаясь горячими слезами, прозвонил колокольчик, и послушник прокричал несколько раз:

— Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас! Пожалуйте к обедне!»

А вот этот же эпизод, описанный для себя и для своих на грани богохульства: «Перед каждой службой в коридорах слышится плач колокольчика, и бегущий монах кричит голосом кредитора, умоляющего своего должника заплатить ему хотя бы по пятаку за рубль:

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Пожалуйте к утрене!»

Второе «я» Чехова — сверхчеловек, избравший своим пристанищем его душу, — наедине с собой не терпел лжи ни в чем, но, находясь среди людей, иногда позволял себе играть в их скучные суетные игры. От самого же Чехова, видимо, исходило мощное, хоть и избирательное, судьбоносное излучение. Во всяком случае, встреча с ним в тесном номере прототипа героя рассказа А.И.Сурата положила конец скитаниям этого перекаати-поля: он достиг своей земли обетованной — учительского места, а потом даже работал в русской журналистике, подтвердив тем самым приговор, вынесенный Чеховым жизни выкреста: «нормальна, здорова, законна и не нуждается ни в каком оправдании», но и, как всякая другая жизнь, сама по себе не гарантирует счастья и безопасности на этой грешной земле, и попади он в зону действия «ванзейского протокола», его судьба ничем не отличалась бы от судьбы Дуни Эфрос, так и не принявшей православия.

Чехов это предчувствовал, а для него самого вопрос об этической еврейской (как и любой другой) «цензуре» был решен окончательно и бесповоротно, и это его «окончательное решение еврейского вопроса» проиллюстрируют последующие главы нашего повествования.

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Опыт общения с выкрестом Александром Ивановичем позволил Чехову проследить индивидуальную судьбу принявшего православие еврея, но не давал ответа на более щекотливый вопрос о вариантах судьбы православной еврейки — женщины, т.е. существа, более зависимого от людей и обстоятельств, чем даже неприкаянный Александр Иванович. Кроме того, Чехов, вероятно, ощущал неравновесие порожденных им еврейских образов: шлюха Сусанна не «уравновешивалась» ни «ведьмой», ни несколько неубедительным в своей положительности Александром Ивановичем, к тому же почти не замеченным читателями. Чувство меры и равновесия — а Чехов был тем самым апокалиптическим всадником, имеющим меру в руке своей, — требовало, чтобы еврейская шлюха была уравновешена не только русской шлюхой, но и еврейской страдальцей.

Необходимость в установлении такого равновесия усиливалась еще и тем, что «Новое время», которому он был обязан улучшением своего материального благосостояния и с которым хотел продолжать сотрудничество, влопалось в очередное дерьмо, устроив антисемитский шабаш вокруг мертвого Надсона, затравленного этой же грязной газетенкой, хотя Надсон был не только православным, но и вообще лишь наполовину евреем.

Сам Чехов очень высоко оценивал Надсона:

«Отчего петербургская литературная братия не служила панихиды по Надсоне? Надсон — поэт гораздо больший, чем все современные поэты, взятые вместе... Из всей молодежи, начавшей писать на моих глазах, только и можно отметить трех: Гаршина, Короленко и Надсона» (Н.Лейкину, 26 января 1887 г.);

«Надсона, пожалуй, раздули, но так и следовало: во-первых, он был лучшим современным поэтом, и, во-вторых, он был оклеветан» (Н.Лейкину, 8 февраля 1887 г.). Как видим, Чехов не стеснял себя в выражениях, хотя клевета исходила от тех, с кем ему приходилось сотрудничать.

Превратившиеся в демонстрацию отпевание в церкви и похороны Надсона вызвали очередной поток буренинских нечистот, вылившихся на страницы «Нового времени», и Чехов пишет брату: «...студенчество и публика страшно возмущены и негодуют. Общественное мнение оскорблено и *убийством* Надсона, и кражей из издания Литературного фонда... Меня чуть ли не обливают презрением за сотрудничество в «Новом времени» (Ал.Чехову, 19–20 февраля 1887 г.).

Чехов разделяет общественное мнение в том, что Надсон был «убит» клеветой Буренина и ему подобных, но его при этом печалит, что «возводят на Суворина небылицы», и он не удерживается от комментариев... в чисто буренинском духе: «Но никто так не шипит, как фармацевты, цестные еврейчики и прочая шволочь» (Ал.Чехову, 19–20 февраля 1887 г.).

Чехову изначально претила переходящая из номера в номер грубая и грязная антисемитская болтовня «Нового времени» и других изданий этого лагеря. Одно дело — откровенность в своем кругу, и совсем иное — публичная ругань, и он еще в 1886 г. в печати зачисляет в презренные ничтожества антисемита Окрейца, приписывая ему имя-отчество «Юдофоб Юдофобыч», а в письме к Билибину после яркого и образного сравнения, явно позаимствованного у Гоголя: «я таял, как жид перед червонцем», мягко выговаривает своему адресату: «Кстати: в последних «Осколках петербургской жизни» Вы три раза ударили по жидам. Ну зачем?» (В.Билибину, 4 апреля 1886 г.).

Однако, не испытывая никакого уважения к редакции «Нового времени» (о чем он не раз сообщает буквально), он отделяет от этой своры Суворина. Время, когда людоедская сущность этой грязной газетки отождествится в его представлении с личностью и сущностью самого Суворина, было еще впереди. А тогда он лишь ворчал: «Я думаю, что будь в редакции два-три человек, умеющие громко называть чепуху чепухой, г. Эльпе не дерзнул бы уничтожать Дарвина, а Буренин долбить Надсона» (Ал. Чехову, 7–8 сентября 1887 г.). И еще: «Рецензия (Буренина на пьесу «Иванов». — Л.Я.) превосходная, но г. Буренину не следовало бы в ложку меду лить бочку дегтю, т.е., хваля меня, смеяться над мертвым Надсоном».

Но он стойко выдерживал «презрение за сотрудничество с «Новым временем», исходившее не только от «цестных еврейчиков», чье мнение было ему глубоко безразлично. Среди тех, кто хотел оторвать его от «Нового времени», были и весьма уважаемые им люди — В.Короленко, Н.Михайловский и другие. Своего рода итоговый ответ таким «разлучникам» содержался в его письме Михайловскому в феврале 1888 г. Письмо это не сохранилось, но его смысл передал в своих воспоминаниях А.Лазарев (Грузинский): Чехов писал, что он «слишком многим обязан Суворину, чтобы уходить от него: когда он был слаб и неизвестен и страстно карабкался вверх, никто не протянул ему руки, никто не пришел ему на помощь — это сделал только Суворин».

Оценку постоянных антисемитских упражнений «Нового времени» и даже возмущившему его грязному новременскому шабашу над умирающим и мертвым Надсоном Чехов публично не высказал, но созданная им во время этих событий пьеса «Иванов» была отчасти ответом на них, что усиливало изначальную многоплановость развернутой в ней драмы.

Один из этих многих планов с большой точностью отражал ситуацию, сложившуюся в русском обществе вокруг Надсона: здесь, в мире, созданном воображением Чехова, был умирающий от чахотки человек — крещеная еврейка Сарра Абрамсон (Анна) — и были те, кто вольно или невольно, своими поступками или просто поведением подталкивали ее к смерти, и цель их была достигнута. Был здесь и «добрый» человек, не умеющий решительно повлиять на ход событий (таким, вероятно, в те годы представлялся Чехову Суворин), был и честный, но чуждый и непонятный всему этому обществу молодой человек по фамилии Львов — врач, как и Чехов. Да и главное действующее лицо пьесы Николай Алексеевич Иванов, в прошлом душа общества, вызывавший искреннюю симпатию и любовь друзей, не напоминает ли он по своей роли в убийстве Сарры в большей степени некогда популярного шестидесятника «искровца» Буренина, чем другого новременца — Александра Чехова, кого некоторые литературоведы считают прототипом Иванова? Тем более что на момент создания «Иванова» собственные семейно-этнические «разборки» со второй женой Н.А.Гольден (матерью гениального актера Михаила Чехова) брату Александру еще предстояли. Ведь это из уст Иванова, когда-то провозглашавшего светлые мысли и идеи, вырывается убийственное оскорбление

по адресу бывшей возлюбленной: «Замолчи, жидовка!» и не менее убийственные слова: «Ты... скоро умрешь...», так же, как из некогда «вольнолюбивых» уст Буренина теперь лились помой на Надсона. А чтобы никто не посчитал это символическое сходство драмы и жизни случайным, Чехов вводит в пьесу и вкладывает в уста гибнущей Сарры песенку «Чижик, чижик, где ты был», использованную некогда Бурениным для издевательств над памятью Надсона. Яснее определить свое место в этом конфликте благородства поэта и подлости его хулителей Чехов не мог.

Чехов не мог себе позволить пристать во мнении обществу ни к филосемитам, ни, тем более, к антисемитам. Всем своим творчеством и личным поведением он пытался обосновать и доказать людям единственность срединного пути в этом, как и в любом ином волнующем людей вопросе. В случае с пьесой «Иванов» эти попытки превратились в острую необходимость уравновесить созданную хищной еврейкой Сусанной inferнальную ситуацию, поглощающую, словно болотная тина, безвольных «хороших» русских людей с их земными слабостями, не менее inferнальной ситуацией, созданной беспросветной подлостью русского общества, общества добывающего милую умирающую еврейку Сарру (Анну). И он это сделал уверенно и убедительно.

Отметим еще один введенный Чеховым в пьесу совершенно не обязательный для ее действия штришок: Зинаида Савишна Лебедева, русская дворянка, жена председателя земской управы, является жестокой «процентщицей», разоряющей русских же дворян и их имения не менее кровожадно, чем еврей Абрам Абрамович Венгерович в первом чеховском драматическом опыте. Перед нами еще одна попытка Чехова помочь понять читателю исконное равенство в Добре и Зле, в сострадании и жестокости, в подлости и благородстве всех людей, независимо от национальной принадлежности.

Известно, что Чехов знал о существовании Карла Маркса — имя этого «пророка» было тогда на слуху в кругах интеллигенции. Упоминает его в своих письмах и Чехов, в частности, воспроизводя разговоры о «Капитале» у Линтваревых. Неизвестно, однако, знал ли он об «отпущении грехов», выданном этим немецким выкрестом всем будущим антисемитам и погромщикам: «Иудаизм — это погоня за наживой, еврейский культ — это торгашество, еврейский Бог — это деньги». Скорее всего, не знал, но предчувствовал, что нечто подобное может родиться в мыслях всякого рода подонков и человеческих

отбросов, и не только явление в «Иванове» русской кровопийцы Зинаиды Савишны, но и тщательно отмеренные слова в «Степи» стали ответом Чехова на мерзости немецко-еврейского «мудреца»: «...нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого». И еще: «Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и наживе, а я свои деньги спалил в печке». Этими словами Чехов утверждает, что деньги — это Бог русского Варламова, и вера этого православного — есть погоня за наживой, в то время как еврей Соломон деньги презирает и видит смысл человеческой жизни совсем в ином. Будет уместно отметить, что эти чеховские слова сделали его объектом стойкой ненависти всех будущих пахнувших серой «мудрецов» и бородатых пророков, по сей день кликушествующих по поводу «мирового сионизма» и «сионистского заговора» против почему-то одного русского народа, видимо, полагая, что сей не самый многочисленный народ является самым главным на земном шаре.

Другая же цель пьесы связана с желанием Чехова предупредить общество о подводных камнях, подстерегающих смешанные браки. Тема «Иванова», вплотную примыкавшая к проблеме ассимиляции евреев, была в этом смысле, как уже говорилось выше, весьма актуальной. Как врач и естествовед Чехов понимал, что стратегия жизни сконцентрирована в женском начале, и инстинктивное стремление женщины, живущей в стране, где против ее этноса направлена мощная энергия предубеждения и где усилиями антисемитской прессы этот этнос в любой момент может стать объектом кровавого погрома, обезопасить свое потомство даже путем отказа от своих этнических корней было для него «нормальным и законным» (вспомним более позднюю «крайнюю» ситуацию, когда «нибелунги» везли на смерть беззащитных и беспомощных людей и еврейки бросали своих детей в глазющую толпу, чтобы дать им хоть один шанс уцелеть). Но Чехов хочет предупредить, что смешанный брак не является универсальным средством спасения и что во многих случаях все та же энергия предубеждения может оказаться сильнее, и тогда сочетание несовместимых «законов» может разрушить личное счастье (вспомним озабоченность Достоевского конфессиональной принадлежностью жениха милой ему юной еврейки).

И Чехов показывает, что энергия предубеждения может оказаться сильнее образования и общей культуры, потому что

она идет из глубин, а культура и образование есть вещи внешние, наносные. В качестве примера предлагается такой вполне документальный рассказ: в одном из первых своих писем Чехов сообщает брату о своем посещении концерта скрипача-виртуоза Леопольда Ауэра в доме таганрогского богача-мецената Ахиллеса Алфераки 8 марта 1876 г. Выкрест Ауэр был женат на русской дворянке из родни Ивана Унковского, командовавшего экспедицией фрегата «Паллада», и имел двух дочерей — Зою («Зушу») и Марию («Муху»), по очереди бывавших замужем за сыном мореплавателя Семеном Унковским, от которого у Зуши был сын Михаил. Вот каким увидел младенца Михаила, имевшего лишь четверть (!) еврейской крови, один из образованных русских людей, крупный государственный чиновник: «Посетив как-то Сеню в его калужском имении, я созерцал, нагнувшись над колыбелью, ни в малейшей степени не напоминавшего типичного русака, каким был Сеня, черноглазого и черноволосого смуглого младенца с жестким взглядом и хитрым лицом стяжательного еврейского банкира». Чтобы все это разглядеть в ребенке, нужна довольно плотная и темная пелена предубеждения, тем более что, в отличие от упомянутого «эксперта», мы имеем возможность проследить дальнейшую судьбу этого «стяжательного еврейского банкира»: потерявший по пути в эмиграцию мать, умершую от тифа в Стамбуле, чудом спасшийся Михаил (Майкл) Ауэр стал голливудской кинозвездой третьей величины и постоянным партнером Дины Дурбин, «вернувшись» в ее фильмах на свою неблагодарную родину в этом качестве, а не как внук известного русского мореплавателя и не как «еврейский банкир».

Стоит ли после этого удивляться тому, что православной Сарре-Анне о лежащем на ней клейме «жидовки» в пьесе Чехова напоминают постоянно и за глаза, и в глаза — в виде шуточки о «жиде крещеном, воре прощеном и коне леченом». Слово «жидовка» легко различается и в постоянном шипении российского уездного серпентария, куда привела ее беззаветная любовь.

Еще раз вспомним слова Чехова о Дуне Эфрос из письма В.Билибину: «Хватит мужества у богатой жидовочки принять православие с его последствиями — ладно, не хватит — и не нужно...»

Сарре Абрамсон хватило мужества, и ее возлюбленный повторяет в пьесе эти слова уже в утвердительной форме: «Анюта замечательная, необыкновенная женщина... Ради

меня она переменяла веру, бросила отца и мать, ушла от богатства...»

А вот как об этом рассказывает сама «Анюта»-Сарра доктору Львову: «Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает, но прежде... Какая прелесть!.. Я полюбила его с первого взгляда... Он сказал: пойдём... я отрезала от себя все, как, знаете, отрезают гнилые листья ножницами, и пошла...» Несколько иначе звучат эти же воспоминания, когда в ее жизнь вторгается сильная, как смерть, ревность, чьи первые стрелы огненные достигают ее души: «Помнишь, ты пришел и солгал мне, что ты меня любишь... Я поверила и оставила отца, мать, веру и пошла за тобою...»

Итак, Сарра Абрамсон стала еще одним чеховским еврейским персонажем, *отказывающимся* от богатства, отрезая его от себя «как гнилые листья ножницами». Правда, делает она это не из своих политических убеждений, как Соломон в «Степи», а ради любимого человека, и эта бескорыстная всепоглощающая любовь еврейки поднимает ее над окружающими ее монстрами из русского провинциального «бомонда» на недосягаемую высоту, и в пьесе начинает звучать тихий волнующий мотив «Песни песней Соломоновой».

ЦАРЬ СОЛОМОН

Абрам Абрамович, Исак, Лев Соломонович, Сусанна, Исаак, Сарра Абрамсон, Мойсей Мойсеич — таковы еврейские имена в произведениях Чехова. Если же речь идет о евреях «в массе», то в ход идут «шмули» и «янкели», и только непонятный человек, сжегший свои деньги, носит имя «Соломон». Если это совпадение, то оно символично: презрение к богатству — один из мотивов книги Екклесиаста, приписываемой Библией царю Соломону. Под впечатлением этой книги и образа ее создателя Чехов находился всю жизнь. Его духовное родство с этим легендарным библейским и кораническим персонажем не осталось незамеченным современниками. Об этом, в частности, писал А. Амфитеатров, называвший Чехова «русским Екклесиастом».

В уже упоминавшемся письме Суворину от 15 ноября 1888 г. после предложения написать трагедию «Олоферн» Чехов вроде бы в шутку писал о судьбе Соломона как о другой возможной теме их совместного творчества: «Сюжетов много. Можно «Соломона» написать...» Этот разговор имел свое продолжение, и 4 мая 1889 г. он отмечает в письме Суворину: «Наконец-то Вы обратили внимание на Соломона. Когда я говорил Вам о нем, Вы всякий раз как-то равнодушно поддакивали. По моему мнению, «Экклесиаст» подал мысль Гете написать «Фауста».

Об этих разговорах Суворин вспоминал уже после смерти Чехова: «Он начинал драму, где главным лицом является Соломон «Паралипомена» и «Песни Песней». Наличие у Чехова неосуществленного замысла написать драму о Соломоне литературоведы «серебряного века» считали неопровержимым фактом, и опубликованный в 1914 г. сохранившийся в его бумагах монолог Соломона стал этому убедительным

подтверждением. Связь этого отрывка с «Паралипоменом» проявляется лишь во времени, к которому может быть отнесен монолог, — к моменту завершения строительства Храма, а по своему настроению слова и мысли чеховского Соломона являются еkkлесиастическими:

«Соломон (*один*). О, как темна жизнь! Никакая ночь во дни детства не ужасала меня так своим мраком, как мое непостижимое бытие. Боже мой, отцу Давиду ты дал лишь дар слагать в одно слова и звуки, петь и хвалить тебя на струнах, сладко плакать, исторгать слезы из чужих глаз и улыбаться красоте, но мне же зачем дал еще томящийся дух и не спящую, голодную мысль?

Как насекомое, что родилось из праха, прячусь я во тьме и с отчаянием, со страхом, весь дрожа и холодея, вижу и слышу во всем непостижимую тайну.

К чему это утро? К чему из-за Храма выходит Солнце и золотит пальму? К чему красота жен? И куда торопится эта птица, какой смысл в ее полете, если она сама, ее птенцы и то место, куда она спешит, подобно мне должны стать прахом?

О, лучше бы я и не родился или был камнем, которому Бог не дал ни глаз, ни мыслей. Чтобы утомить к ночи тело, вчера весь день, как простой работник, таскал я к Храму мрамор; но вот ночь пришла, а я не сплю... Пойду опять и лягу.

Форзес говорил мне, что если вообразить бегущее стадо овец и неотступно думать о нем, то мысль смешается и уснет. Я это сделаю... (*Уходит*)».

Этим же настроением отмечена и его дважды повторяющаяся запись в записных книжках: «Соломон сделал большую ошибку, что попросил мудрости». Вероятно, слова Еkkлесиаста:

— *Ибо во многой мудрости много печали;*

И кто умножает познания, умножает скорбь,—

должны были стать ключом к духовной драме царя Соломона в ненаписанной пьесе Чехова.

Долгое время тема «Чехов и царь Соломон» оставалась под запретом в бывшей советской империи, и только в последнем академическом собрании его сочинений в набранных мелким шрифтом комментариях получила некоторое отражение творческая переключка этих двух гениев человечества, разделенных

почти тремя тысячелетиями. Уже в постсоветский период взаимодействие Екклесиаста с чеховскими творениями было исследовано более подробно, и с выводом этих освободившихся от презренной цензуры литературоведов о том, что мотивы и образы Екклесиаста и философия царя Соломона занимают центральное место в художественной концепции Чехова, нельзя не согласиться. Прав был Амфитеатров, сказавший: «Кто в европейской литературе мог бы лучше Чехова истолковать сложную и глубокую душу великого иудейского царя-пессимиста?» И действительно, дух царя Соломона с его стремлением все познать и испытать витал не только над страницами чеховских рассказов, но и над личной жизнью писателя, не пренебрегавшего любыми утехами бытия. Об этом свидетельствуют письма Чехова с упоминаниями, а нередко и описаниями кутежей в ресторанах, посещений борделей, близости с женщинами, в том числе весьма экзотическими, всегдашней готовностью к странствиям по нашей грешной Земле.

Вспомним, как эта его черта поразила помешанного на сексуальных проблемах В.Розанова: «...Антон Павлович раз приехал в Рим. С ним были друзья, литераторы. Едва передохнув, они шумно поднялись, чтобы ехать осматривать Колизей, и вообще что там есть. А Антон Павлович отказался: он расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы он не приезжал, он раньше всего ехал в такой дом».

Чисто екклесиастские черты и настроения Чехова сохранил для нас и А.Суворин: «И в Петербурге, и в Москве он любил до странности посещать кладбища, читать надписи на памятниках или молча ходить среди могил».

И еще: «С ним мы дважды ездили за границу. В оба раза мы видели Италию. Его мало интересовало искусство, статуи, картины, храмы, но тотчас по приезде в Рим ему захотелось за город, полежать на зеленой траве. Венеция захватывала его своею оригинальностью, но больше всего жизнью, серенадами, а не дворцом дождей и проч.

В Помпее он скучно ходил по открытому городу — оно и действительно скучно, но сей же час с удовольствием поехал верхом на Везувий, по очень трудной дороге, и все хотел подойти поближе к кратеру. Кладбища за границей его везде интересовали, — кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков».

Из этого сам Суворин сделал вывод, что «это как бы определяло два свойства его таланта — грустное и комическое,

печаль и юмор, слезы и смех и над окружающим, и над самим собою!» Надо полагать, что в действительности все было гораздо глубже: цирк и кладбище были для Чехова моделью человеческого мира, а партия клоуна в цирковом представлении символизировала для него судьбу и одиночество человека в этом безразличном или враждебном ему мире.

Вообще отношение современников к «странностям» гениального писателя убеждает нас в их глубоком непонимании характера и мировоззрения Чехова. Они считали, что он был не способен к адекватному восприятию европейских ценностей. На деле же он просто везде был «своим» — в Японии и на Цейлоне, в Италии и Франции, в Славянске и в Святых Горах, и об этом свидетельствуют его письма с мельчайшими подробностями чужой и в то же время ясной и близкой ему жизни. Для него не существовало жизни французской или итальянской, немецкой или японской. Он был человеком во Вселенной, и, как и для царя Соломона, для него существовала лишь одна жизнь — жизнь человеческая. Случай представится, и он скажет об этом прямо:

«И зачем писать об евреях так, что это выходит «из еврейского быта», а не просто «из жизни».

«Читали ли Вы рассказ «В глухом местечке» Наумова (Когана)? Там тоже об евреях, но вы чувствуете, что это не «из еврейского быта», а из жизни вообще...» (М.Полиновскому, 9–10 февраля 1900 г.).

Жизнь человеческая сегодняшняя, прошлая и будущая представляла пристальному взгляду Чехова в своей взаимосвязи без временных, а тем более национальных границ, и свое писательское, а в действительности скорее пророческое предназначение он видел в беспристрастном отражении этой жизни. Как художник Чехов был именно таким, но иногда начинал рассуждать с пристрастием, как «природный россиянин» и «истинный патриот», включалось тогда его второе, приземленное «я», как это случилось в одном из последних написанных им писем — сестре Марии, 16 июня 1904 г., из Баденвейлера: «Наша русская жизнь гораздо талантливее (немецкой.— Л.Я.), а про итальянскую или французскую и говорить нечего».

Перечитывать эти строки Чехова, умирающего Чехова, не очень хочется. Неизмеримо важнее для нас другой Чехов — тот, кто отнюдь не убежден в превосходстве русского над иностранным, и вообще не способен размышлять об этом, и не желает никого поучать — ни «своих», ни «чужих».

Он писал Суворину в ответ на его требование «продвинуть» и «решить» вопрос о пессимизме в повести «Огни»:

«Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о Боге или пессимизме. Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем. Я слышал беспорядочный, ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные, т.е. читатели. Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т.е. уметь отличать важные показания от не важных, уметь освещать фигуры и говорить их языком. Щеглов-Леонтьев ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой: «Ничего не разберешь на этом свете!» По его мнению, художник-психолог *должен* разобрать, на то он психолог. Но я с этим не согласен. Пишущим людям, особенно художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознавался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает; и чем она глупее, тем, кажется, шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед» (30 мая 1888 г.).

Отношение самого Чехова к повести «Огни» изменялось во времени. Во время работы над ней он писал Полонскому: «Начал было мрачный рассказ во вкусе Альбова, написал около полулиста (*не особенно плохо*) и бросил до марта» (22 февраля 1888 г.).

Потом несколько иная оценка:

«Пишу повестушку для «Северного вестника» и чувствую, что она хромает» (А.Плещееву, 31 марта 1888 г.);

«Никак не покончу с повестушкой (разговор с инженерами в бараке); она связала меня по рукам и ногам» (А.Суворину, 3 апреля 1888 г.);

«Я давно уже (с середины апреля) сижу за небольшою повестушкой для «Северного вестника»... К прискорбию моему, она у меня не вытанцовывается, т.е. не удовлетворяет меня, и я порешил выслать Вам ее не ранее, пока не поборю ее» (А.Плещееву, 9 апреля 1888 г.).

Наконец тон писем несколько меняется:

«Теперь о повести. Вы предостерегаете меня от излишней отделки и боитесь, чтобы, перестаравшись, я не стал холоден

и сух. Это резон и большой резон, но история в том, что речь в моем письме шла вовсе не об отделке. Я переделывал *весь* корпус повести, оставив в целости только один фундамент. Мне не нравилась *вся* повесть, а не в деталях... Вообще повесть выйдет не из аховых, критики только носом покрутят. Это я не скромничаю. *Достоинства повести: краткость и кое-что новенькое...* (А.Плещееву, 17 апреля 1888 г.).

И снова «самокритика»:

«Я оканчиваю скучнейшую повестушку. Вздумал пофилософствовать, а вышел канифоль с уксусом. Перечитываю написанное и чувствую слюнотечение от тошноты: противно! Ну, да ничего... Наплюе» (И.Леонтьеву-Щеглову, 18 апреля 1888 г.);

«...Связан по рукам и ногам паршивой повестушкой, которую должен во что бы то ни стало кончить к Пасхе...» (К.Баранцевичу, 20 апреля 1888 г.);

«Моя повестушка может теперь петь вместе с Прекрасной Еленой: «Готова! готова!» Кончил ее и завтра посылаю. Скучна она, как статистика Сольвычегодского уезда» (А.Плещееву, 25 апреля 1888 г.).

Послал в «Северный вестник» рассказ. Мне немножко стыдно за него. Скучища и так много филосомудии, что приторно...» (И.Леонтьеву-Щеглову, 3 мая 1888 г.).

И уже после выхода «Огней» в шестом номере «Северного вестника»:

«Относительно конца моих «Огней» я позволю себе не согласиться с Вами. Не дело психолога понимать то, чего он не понимает. Паче сего, не дело психолога делать вид, что он понимает то, чего не понимает никто. Мы не будем шарлатанить и станем заявлять прямо, что на этом свете ничего не разберешь. Все знают и все понимают только дураки и шарлатаны» (И.Леонтьеву-Щеглову, 9 июня 1888 г.).

В переписке Чехова, относящейся к повести «Огни» и к работе над нею, названы только имена Сократа и Вольтера, вероятно, в связи с их высказываниями о непознаваемости бытия. (Знаменитое «Я знаю, что я ничего не знаю» Сократа и менее известные слова Вольтера «Все дело в том, что мы ничего не знаем о самих себе, что жизнь, ощущения, мысль, способность двигаться дарованы нам каким-то неведомым образом, что первоосновы материи неизвестны нам так же, как и все остальное, что мы — слепцы, бредущие и рассуждающие ощупью».)

Однако одна самая главная личность, стоящая за каждым словом и мыслью в повести «Огни», не была названа по имени ни автором, ни его первыми читателями и критиками. Это

личность царя Соломона, личность Екклесиаста. Между тем уже на первых страницах «Огней» появляются библейские образы и картины:

«Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом».

Затем в «беспорядочном, ничего не решающем разговоре двух русских людей» появляется и сам Соломон, давший людям в книге Екклесиаста непревзойденные образцы исповедальной прозы и высшую ступень исповедального мышления:

«Всею душой ненавижу эти мысли! Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам, — может быть, оттого, что я глуп и что эти мысли были для меня не по кою корм, — они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысли о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и — стоп машина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже».

Таким был суд Чехова над своими современниками, и суд этот был мудр как суд Соломона, суд Екклесиаста, жившего в его душе и в созданных им «Огнях» до самых последних слов:

«Стало восходить солнце...»

«Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит» (Екклесиаст 1.5).

Автору «Огней» было двадцать восемь лет.

Много лет спустя Чехов скажет, что он забыл о том, что писал в «Огнях». Создавалось впечатление, что он не любил эту повесть. Скрытный по натуре человек часто жалеет о минутах откровения, когда из-за сотканной им плотной завесы вдруг на миг выглядывает его душа. Может быть, Чехов и не любил «Огни» за то, что в них на мгновение обнажилось то сокровенное, что он скрывал, стремясь возвести равнодушные в свою религию.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Не успел улеться шум вокруг убийства Надсона буренинскими пасквилями, как «Новое время» с помощью того же Буренина вновь перемазалось в антисемитской грязи в связи со скандалом, возникшим по поводу памятника Екатерине II. Скандал был организован грязной газеткой князя В. Мещерского «Гражданин», о которой Александр Чехов писал Антону: «Почетнее писать в кабаках кляузы, нежели работать в сем органе». Одна из анонимных публикаций в «сем органе» поднимала вопрос о том, что памятник великой русской (!) императрице заказывают жиду Антокольскому.

«Гражданину» в «Новостях и Биржевой газете» ответил В. Стасов, на которого «Новое время» спустило и науськало своего злобного пса Буренина. В такой вот ситуации Чехов делает первую серьезную попытку отвлечь «Новое время» от звериного антисемитизма, еще не понимая, что именно такой антисемитизм и является сущностью суворинского издания. Чехов посылает сыну Суворина вырезки из «Новостей и Биржевой газеты» с ответом Ф. Павленкова Буренину и еще из одной анонимной публикации о том, что «Новое время» не имеет морального права присваивать себе монополию «истинно русского направления» и глумиться «над зловредным еврейским племенем», поскольку среди сотрудников его редакции есть евреи.

Посылая эти вырезки, Чехов предлагал дать ему возможность высказаться под псевдонимом на эти темы на страницах «Нового времени». Суть своей позиции он изложил в письме А. Суворину-сыну в конце августа — начале сентября 1888 г. Содержание этого несохранившегося письма Чехова можно установить по ответному письму Суворина-сына:

«Впрочем, и Ваше решение вопроса вовсе нерешение. Вы предлагаете только помнить о жиде, что он жид, и относиться к нему так же, как и ко всякому другому русскому гражданину».

Чеховская мысль даже в типично суворинской аранжировке остается предельно ясной: «Ты, Суворин-сын, как существо человекообразное, вправе никогда не забывать, что та или иная подобная тебе особь принадлежит к еврейскому, или, если тебе так нравится, к жидовскому племени, но как животное общественное и, в частности, как редактор или сотрудник газеты, обращенной ко многим тысячам людей, ты обязан помнить, что перед тобой твои сограждане, и вести себя прилично, а не как презренный раб, которому дали возможность без ущерба для твоей морды и твоего корыта поиздеваться над слабым и зависимым человеком».

Несколько лет спустя, создавая зимой 1891/92 года модель российского общества в «Палате № 6», Чехов в художественной форме отразит эти свои взгляды: среди русских обитателей психушки оказывается и «жид Мойсейка». При этом Мойсейка, в отличие от других обитателей «палаты», даже имеет право выхода за своеобразную «черту оседлости»: с разрешения цербера Никиты он время от времени отпущается в город за подаванием. Город благоволит к нему, и в уличных странствиях, привлекая к нему всеобщее внимание, его весело сопровождают мальчишки и собаки. (Те же городские мальчишки и собаки через два-три года в «Скрипке Ротшильда» станут воплощением вселенской злобы и жестокости.) Нехитрую же добычу Мойсейки почти полностью отбирает Никита, олицетворяющий в чеховском рассказе российскую власть.

Таким образом, Чехов предлагал то, что потом, после появления публикаций В. Жаботинского, назовут «асемитизмом» — исключить понятие «еврей» или «жид» из всех официальных отношений между гражданами унитарного государства, и его предложение, естественно, никак не устраивало Сувориных, лелеявших мировой заговор с целью уничтожения евреев и еврейства. Они, правда, еще окончательно не решили, по какому признаку уничтожать евреев — по профессиональному или этническому. Но это решат их духовные наследники, а пока Суворин-фис терпеливо разъяснял заарканенному нововременцами Чехову: «Первое (т.е. «помнить о жиде, что он жид») со вторым (т.е. относиться к еврею «так же, как и ко всякому другому русскому гражданину») не вяжется, а если Вы оставите только второе, то это будет не Ваше решение вопроса,

а тех, кто даже не понимает трудности еврейского вопроса: «выпустить евреев в Россию — вот и все».

Комментарии, как говорится, излишни. Чехов не стал продолжать эту бесплодную дискуссию, но, видимо, сделал для себя более решительные выводы о необходимости начать по возможности отдаляться от «Нового времени». Антокольского он тоже им запомнил и поквитался, приняв впоследствии самое активное участие в организации заказа скульптору-еврею памятника основателю Таганрога — великому русскому (!) царю Петру I. Правда, произойдет это после очередного антисемитского выпада нововременцев против Антокольского, о чем еще будет сказано подробнее.

В вопросе же отдаления от «Нового времени» Чехов очень рассчитывал на «Северный вестник» с его независимой репутацией. Именно для этого журнала он стал готовить свои крупные вещи — «Степь» и «Огни». Сближение с «Северным вестником» было для Чехова принципиально важным поступком, так как именно этот журнал чаще всего становился объектом публичных буренинских издевательств. Но это сближение не было легким и безболезненным: при всем доброжелательном к нему отношении редактора-издателя журнала А.Еврейновой ему приходилось отстаивать свои позиции перед литераторами и критиками старшего поколения. Непростые отношения складывались у него с Н. Михайловским, и он в большей степени ориентировался на А.Плещеева, но все было бы терпимо, если бы в редакции «Северного вестника» не усиливалось влияние Акима Волынского (псевдоним Хаима Флексера), ставшего в середине 1890 г. вместе с Л.Гуревич пайщиком журнала.

Местечковый еврей родом из-под Житомира Хаим Флексер, не обремененный глубокими культурными традициями, стал русским интеллигентом в первом поколении и был изумлен кажущейся простотой открывшегося ему мира классической и современной философии, литературы и театра. Пощитав, что коль скоро он легко, как ему казалось, постиг сущность Канта, Спинозы, Леонардо и иных мыслителей давнего и недавнего прошлого, Волынский почувствовал, что рамки сионистских исканий в газете «Рассвет» и журнале «Восход» ему становятся тесными, и принялся за русскую философию и литературу, чтобы указать современным ему деятелям в этой области, какими должны быть, например, русские писатели. Свое специальное внимание он уделяет Ф.Достоевскому, Л.Толстому и, между прочим, Чехову.

Вряд ли Чехов внимательно читал литературоведческие труды Волынского. Вопрос и с Достоевским, и с Толстым был для него ясен:

«Купил я в Вашем магазине Достоевского и теперь читаю. Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий» (А. Суворину, 5 марта 1889 г.);

«Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, Юпитер» (А. Суворину, 11 декабря 1891 г.).

Броде бы и добавить нечего. А вот критику Волынского в свой адрес он, вероятно, по крайней мере поначалу, просматривал и читал примерно такое:

«Чехов не постиг еще настоящей хмурой русской души»;

«Скажем с полной откровенностью: читая «Хмурых людей» г. Чехова, мы испытывали чувство досады»;

«...такое несомненно симпатичное дарование, как г. Чехов ...»;

«...шатающийся талант».

Выделив в сборнике «Хмурые люди» лишь «Скучную историю», Волынский объявляет остальное лишь «игрой юношеского и неокрепшего таланта». (Это о «Припадке», «Княгине», «Спать хочется» !!!)

«...Романтические чувства в зародыше, человеческие столкновения миниатюрны...».

К 1893 г., например, относится такая сентенция Волынского, позволяющая, на наш взгляд, вполне обоснованно усомниться в его умственных способностях: Чехов для него «симпатичный талант, страдающий скудостью идей, замыслов, с небольшим запасом наблюдений в определенном направлении, без широкой психологической перспективы...».

И потом не лучше:

«Но мы не рады за г. Чехова. В мещанстве суждений гибель для таланта»;

«...таланливый новеллист невольно обнаруживал тайну своей внутренней несостоятельности...».

Может показаться, что набор этих высказываний принадлежит человеку вовсе без царя в голове, но столь глубокое непонимание Чехова случается и поныне. Совсем недавно один из литераторов, вознесенных на Олимп столкновением спецслужб двух конкурирующих систем решил наконец с высоты этого своего Олимпа поделиться с читателями впечатлениями от прочтения Чехова. Среди многочисленных претензий к прочитанному есть, например, и упреки в том, что «слов исконных, корневых, ярких русских — у Чехова почти

не бывает», или в том, что он находится «как будто у важного стержня жизни, а не на главном. (А Достоевский всегда на главном)», и т.д., и т.п. Казалось бы, в конце XX века можно бы и понять, что Чехов — писатель русскоязычный и работавший на российском материале, ибо другого у него не было, но принадлежал он всему миру и мировой литературе, для которой проблем, «главных» для Достоевского-идеолога, не существует вовсе, поскольку в большинстве своем они есть лишь проявления писательской нескромности и претензий. Это не я придумал, это сказал он сам раз и навсегда:

«Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».

Мережковский еще в 1908 г. сказал: «У Чехова «приятие» России вытекает из приятия мира...» А новейшие учителя словесности и философии, и незваные бородатые пророки пытаются удержать его в «усадьбе», именуемой «Россия», а еще бы лучше — в трех аршинах, чтобы не смущал. Их слух ласкает нелепая фраза умирающего гения, суть которой в том, что русское говно, оказывается, гораздо лучше немецкого, не говоря уж об итальянском или французском...

Но причины непонимания, а вернее — неприятия Чехова политиканом-националистом, с одной стороны, и жрецом «чистого» искусства, с другой, — различны, и почти не меняющиеся с годами восприятие Волынским чеховского творчества вызывает искреннее недоумение. Волынский, всю жизнь мечтавший об открытии нового литературного гения, так до конца своих дней и «не заметил» этого гения в Чехове, о чем свидетельствуют его слова, сказанные в 1923 г. незадолго до смерти: «...искусство зеленело в нем, незатуманенное рассудочностью, чистое, светлое, глубоко-местное, глубоко-временное, в закатный час российской общественности». Вторая часть этого странного высказывания столь же неверна, сколь точна, удивительно точна и глубока первая его часть...

Отметим, что это говорилось уже тогда, когда слава и влияние Чехова завоевывали мир, прокладывая путь новой прозе и драматургии от Японских островов до американской глубинки. Видимо, чтобы предугадать такое развитие событий, нужно было самому быть гением, таким, например, как Лев Толстой, сказавший о Чехове, не затрудняя себя доказательствами, простую истину:

«Чехов... это был несравненный художник. Да, да. Именно несравненный. ...И достоинство его творчества то, что оно

понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще.

Он был искренним, а это великое достоинство...

И благодаря искренности его, он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде!

Я повторяю, что новые формы создал Чехов, и, отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня (15 июля 1904 г.)».

В литературе — в прозе, поэзии, драме — существует свой «гамбургский счет», который ведут те, кто этой литературой живет. В этом негласном соревновании одна строка может перевесить многие тома, и, зная об этом, невозможно объяснить, как тот же Волинский не мог понять, что духовно-жизненной энергетике, сконцентрированной, например, в чеховском рассказе «На пути», хватит на несколько тургеневских романов, а «Палата № 6» вполне сопоставима с «Братьями Карамазовыми». Но он, увы, этого не понимал. И Чехов, и Толстой — это были Гулливеры в стране лилипутов. Друг друга они видели ясно и четко, а копошившиеся и до сих пор копошащиеся у их ног лилипуты делают свои выводы по шнуркам на их ботинках, не в силах разглядеть их Лица даже с расстояния в двадцать, пятьдесят или сто лет.

Тем не менее «взаимоотношения» Чехова и Волинского иногда становятся объектом литературоведческих исследований, хотя никаких таких взаимоотношений по сути дела не было. Волинский в виде Флексера, вернее под кличкой «Филоксера», появляется в чеховских письмах с мая по декабрь 1891 г. четыре раза и не в качестве серьезного критика, а как досадное организационное препятствие в деловых взаимоотношениях с редакцией «Северного вестника»: «Ах, Глинский, Глинский! Давно ли он был у меня и с высоты своего редакторского величия предлагал мне писать у него, обещая помещать даже мои маленькие рассказы? Ах, Гуревич, Гуревич! Наверное его подбили Флексер и бабы!» (А.Суворину, 13 мая 1891 г.).

«M-elle Гуревич и M-г Филоксера ничего не сделают из «Северного вестника»; они внесут в него дух еврея-философа, ими переведенного, но не внесут его мудрости и таланта; чесночным духом и ограничится дело» (А.Суворину, 18 мая 1891 г.).

«Была у меня издательница «Сев. вестника» Гуревич. Девица добрая и образованная, но не журнальная. В литературных делах она так же мало смыслит, как испанец в русских

мужиках. Бранила Михайловского, а я, видя в этом влияние Филоксеры, хвалил» (А.Суворину, 26 ноября 1891 г.).

«Гуревич не дала аванса. Какова? Я не огорчился, конечно, но ее-то положение! Нет денег у бедняжки, а в типографию надо, за бумагу надо, авторам надо, Филоксере надо ...» (А.Суворину, 3 декабря 1891 г.).

Вот и все «взаимоотношения».

К этим документальным свидетельствам добавляются несколько смутных воспоминаний. Два из них принадлежат самому Волынскому — о беседе или споре в редакции «Северного вестника» и о случайной встрече на улице возле Малого театра. Волынскому запомнилось внимательное и доброжелательное отношение к нему Чехова, с интересом слушавшего, в частности, его богословские рассуждения.

Третье воспоминание содержится в заметке одессита С.Гольдельмана, появившейся после смерти Чехова. Вряд ли добрые слова Чехова о Волынском переданы там достаточно точно, так как приписываемые ему высказывания лишены присущей Чехову сдержанности. Но не исключено, что они отражают какие-то реальные настроения Чехова, всегда принимавшего сторону «слабого», а Волынского тогда, в начале XX века, поносили многие антисемитские издания и, конечно, «Новое время», где резвился Буренин, не щадивший в тот период и самого Чехова, уже порвавшего с этой газетой.

Имена Волынского и травившего его несколько десятилетий Буренина связывает и такой эпизод, который мог бы послужить Чехову сюжетом для небольшого рассказа: на своем восьмом десятке Буренин, отойдя от дел, доживал свой век в голодном и холодном послереволюционном Петрограде. Там же пытался найти себя в новом «социалистическом» мире не сумевший эмигрировать Волынский. Постепенно он как-то вписался в новую жизнь, издавал книжки, работал в театре «Габима», и тогда же почти нищий Буренин стал вдруг получать анонимную помощь. Только после смерти Волынского в начале июля 1926 г. выяснилось, что помощь исходила от него. Буренин был потрясен открывшейся ему правдой, и через месяц с небольшим ушел следом.

По-видимому, некоторые размышления о Волынском, более глубокие, чем те, что были высказаны в письмах Суворину, помогли Чехову определиться в давно волновавшем его вопросе о конфессиональной принадлежности человека и выделить в нем «внешнюю» сторону: «Да разве такие слова, как православный, иудей, католик, служат выражением каких-

нибудь исключительных личных достоинств, заслуг? По-моему, величать себя православным волей и неволей должен всякий, у кого это слово прописано в паспорте. Веруете Вы или нет, князь мира Вы или ссыльнокаторжный, Вы в обиходе все равно православный. И Соловьев вовсе не брал на себя никаких претензий, когда отвечал, что он не иудей и не халдей, а православный...» (А.Суворину, 18 ноября 1891 г.).

Это написано Чеховым по поводу фельетона, которым Суворин откликнулся на дискуссию в «Московских ведомостях» о православии с участием Вл.Соловьева, В.Грингмута и Ю.Говорухи-Отрока. Чехов выделяет в фельетоне Суворина Вл. Соловьева и «защищает» его, хотя против него направлена лишь одна фраза: «У Вл. Соловьева я ненавижу его фальшивые антинациональные идеи», а основной выпад «Нового времени» направлен на очередного выкреста. «Я не могу и подумать о том, что мое православие может идти в какое бы то ни было сравнение с православием св. Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, православие которых не удовлетворяет такого православного, как г. Грингмут», — писал Суворин. Но Чехов не хочет углубляться в дискуссию о выкрестах и удовлетворяется формальным решением вопроса: по паспорту православный — значит православный. Однако примерно в это же время он делает следующую запись в своей первой Записной книжке:

«Легкость, с какою евреи меняют веру, многие оправдывают равнодушием, но это не оправдание. Нужно уважать и свое равнодушие и не менять его ни на что, так как равнодушие у хорошего человека есть та же религия» (с. 68).

К фразам Чехова из его Записных книжек нельзя непременно относиться как к его собственным мыслям, поскольку в большинстве случаев это «заготовки» для персонажей будущих пьес, рассказов, повестей. Так, например, фраза «Мне противны: игривый еврей, радикальный хохол и пьяный немец» (с. 102) легко вписалась бы в журнальный вариант «Именин», где присутствовал шаржированный «радикальный хохол», впоследствии исключенный Чеховым, чтобы избежать очередных упреков в созвучии с «Новым временем», активно проводившим, наряду с антисемитской, антиукраинскую пропаганду с издевательством над украинским языком и украинскими писателями.

Тем не менее многие записи в определенной мере отражают и его собственные раздумья, и фраза о «легкости» в перемене веры, видимо, свидетельствует о том, что вопрос о выкрестах

для Чехова еще не был закрыт. Его удивляла равнодушная активная философская позиция этих прозелитов: вместо того чтобы спокойно заниматься своими личными делами, облегченными их переходом в господствующую в государстве религию, они, в своем большинстве, бросаются учить христиан по рождению, а не только «по паспорту», какой должна быть их христианская вера, как это делал г. Грингмут в полемике с Вл. Соловьевым. Чехов никогда не скрывал, что он сомневается в искренности этих незваных «учителей», и эти «элементарные» сомнения явственно ощутил Волынский, наблюдая его реакцию на свои «взволнованные» и «вдохновенные» богословские тирады. Впрочем, все это показалось Волынскому признаком интеллектуальной недоразвитости Чехова, и он записал: «Конечно, Чехов в простодушии своем (!!! — Л.Я.) делил людей на простые группы: евреев и христиан, несколько не подозревая даже, как призрачны и близоруки такие детские различия в вопросах седой древности». Такой вот «простачок» попался Волынскому на его жизненном пути! Для нас, имеющих некоторое представление об объеме знаний Чехова, о количестве и разнообразии прочитанного им за его недолгую жизнь и о его гениальной способности мгновенно проникать в сущность вещей, претензии вечного студента Волынского с его менторским тоном по отношению к Чехову на право оценивать его интеллект кажутся смешными. Смешными они казались и самому Чехову, безусловно, знаящему, что все необходимое человеку на его жизненном пути есть у Екклесиаста, и Чехов задумывает комедию (естественно, в чеховском понимании слова «комедия») с участием подобного Волынскому «облезлого философа», наделенного неукротимым духом Баруха Спинозы, но лишённого мудрости и таланта этого великого еврея-мыслителя.

Упоминание об этом замысле относится к 1894 г., когда Чехов писал из Крыма:

«И вот что мне нужно для пьесы, если я буду писать ее в Крыму: пришлите мне через московский магазин книжку Людвиг Берне, холодного жидовского умника. Я хочу вывести в пьесе господина, который постоянно ссылается на Гейне и Людвиг Берне. Женщинам, которые его любят, он говорит, как Инсаров в «Накануне»: «Так здравствуй, жена моя перед Богом и людьми!», оставаясь на сцене solo или с женщиной, он ломается, корчит из себя Лассалья, будущего президента республики; около же мужчин он молчит с таинственным видом и при малейших столкновениях с ними у него

делается истерика. Он православный, но брюнет по фамилии Гинзельт. Хочет издавать газету» (А. Суворину, 1894 г.).

Впрочем, замысел пьесы из жизни интеллектуалов, по-видимому, обсуждался с Сувориным за несколько лет до того, как ее главный герой стал «православным брюнетом» и обрел фамилию Гинзельт, так как еще в начале 1892 г. Чехов сообщал ему о своем желании иметь книги Берне (одна из них была, кстати, издана самим Сувориным), «когда буду писать пьесу», и добавлял: «Это один из тех очень умных умов, которые так любят евреи и узкие люди» (А. Суворину, 31 марта 1892 г.).

Если бы этот замысел осуществился, Гинзельт был бы в творчестве Чехова третьим православным брюнетом (после Александра Иваныча из «Перекати-поле» и фон Корена из «Дуэли»). Но фон Корен у него был естественником, почти фашистом, исповедовавшим социальный дарвинизм, и к авторитету Гейне или Берне не прибегал. Кроме того, единственным смутным упоминанием о возможном еврейском (или полуеврейском) происхождении фон Корена в «Дуэли» были слова Лаевского о «немецких выходцах из жидов», сказанные в гневе, которые, скорее всего, должны были показать, что в критические моменты жизни с русского, даже интеллигентного, человека осыпается тонкий слой культурки, и он начинает бранить жидов, обвиняя их во всех своих несчастьях.

Гинзельту же, вероятно, предстояло стать еврейской разновидностью Лаевского — русским интеллигентом-гуманитарием еврейского происхождения, и в этом качестве он, безусловно, мог иметь одним из своих прообразов Акима Волынского-Флексера, любившего многословные посвящения в своих трудах (об этом писал Чехов Горькому, прося, чтобы посвящение «Фомы Гордеева» ему, Чехову, было предельно кратким), но не «Филоксеру» из переписки Чехова с Сувориным.

В этой пьесе, в устах одного из действующих лиц, могла бы появиться и фраза о «легкости» евреев в перемене веры, и даже обожаемая всеми теми, кто хотел бы видеть Чехова «своим» антисемитом, запись о том, что Лесков и Максимов «не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все — евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, непонятной для них, и видящие в русском человеке ни больше, ни меньше, как скучного инородца, и что руководимую этими критиками петербургскую публику уже не интересуют Островский и не смежит Гоголь».

Однако Чехова отвлекли иные планы, и сага о Гинзельте не была написана.

ЗВУКИ СКРИПКИ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУ «ЕЩЕ БОГ» И «НЕТ БОГА»

В одной из монографий о жизни и творчестве Чехова я встретил такую фразу: «Однако 1894 год принес размежевание Чехова с Сувориным по делу Дрейфуса и такое дефинитивное суждение, исчерпавшее еврейскую тему для Чехова, как «Скрипка Ротшильда». Пьеса о еврее-журналисте осталась ненаписанной» (Е. Толстая. Поэтика раздражения. М., 1994).

Появление подобных высказываний о Чехове вызывает искреннее удивление: жизнь этого человека есть, можно сказать, открытая книга и может быть восстановлена день за днем. Никакого «размежевания» с Сувориным в 1894 г. у Чехова не происходило, а состоявшийся в том же году во Франции первый судебный процесс по «делу Дрейфуса», скорее всего, не привлек его внимания. Реакция Чехова на него неизвестна. Правда, однажды в 1893–1894 гг. в письме к Суворину он упоминал о «деле Дрейфуса», но в том случае речь шла о судебном процессе над одесской хлеботорговой фирмой «Дрейфус и К°» по обвинению в мошенничестве при экспорте хлеба во время голода в Самарской губернии. То, что эта одесская фирма принадлежала евреям, было важно для Суворина и его газеты, использовавшей сей процесс в своей антисемитской пропаганде. Для Чехова же национальная принадлежность хозяев этой фирмы никакого значения не имела, так как в его концепции евреи, наравне с прочими, были гражданами Российской империи, и среди них воровство и мошенничество могло процветать столь же успешно, как эти пороки во все времена процветали среди миллионов русских и иных граждан этой самой империи. Поэтому шум, поднятый вокруг фирмы «Дрейфус и К°» и вокруг происходившего в Одессе суда,

на отношениях Чехова с Сувориным не отразился, и отношения эти, как свидетельствует их переписка, оставались теплыми и почти что родственными вплоть до конца 1897 г.

Что касается «Скрипки Ротшильда», то этот рассказ с очень большой натяжкой можно отнести к «дефинитивным суждениям, исчерпывающим еврейскую тему» для Чехова.

Явление «Скрипки Ротшильда» в чеховском творчестве носит явный мистический характер. Это единственный довольно крупный рассказ, о приближении которого в его переписке нет никаких сведений, и даже само его название ни разу не упоминается. Единственное сообщение Чехова об этом рассказе звучит так:

«Был у меня один маленький рассказ, Ивану Ивановичу (Горбунову. — Л.Я.) неведомый, но я уже сдал его в «Русские ведомости» (М.Меньшикову, 20 января 1894 г.), и 6 февраля 1894 г. «Скрипка Ротшильда» появляется в очередном номере газеты «Русские ведомости». Впоследствии Чехов с незначительными изменениями включал этот рассказ в сборники и в прижизненное собрание сочинений.

Действие этого рассказа происходит не в российской глубинке и даже не на захваченных империей чужих землях за «чертой оседлости», где только и могли играть в «жидовском оркестре» Моисея Ильича Шахкеса гробовщик Яков Иванов и «продавец воздуха» Ротшильд. На чеховских страницах раскрывается мир, который потом, лет через тридцать — сорок, люди, плохо знавшие творчество Чехова, назовут кафкианским. Но основное внимание Чехова, в отличие от Франца Кафки, приковано не к загадочному идиотизму этого непонятного мира, а к пронзительным крикам, исходящим из душ тех, кто не по своей воле обретается в этом бессмысленном мире. Когда-то одного тоскливого крика живого существа хватило для того, чтобы погрязший в роскоши индийский юноша Гаутама Сиддхартха стал Просветленным. С юных лет наделенный пророческим всеведением Чехов пытался отгородиться от этих криков, возведя равнодушие в свою религию и пребывая в огромном, по его словам, поле между «есть Бог» и «нет Бога», «которое проходит с большим трудом истинный мудрец». Чехов был истинным мудрецом, прошедшим это поле. Недаром он всю жизнь любил и восхищался лермонтовской «Таманью», заканчивающейся такими близкими его собственному мировосприятию словами: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности».

Но это не всегда у него получалось, и рассказ «Скрипка Ротшильда» — один из тех случаев в его творчестве, когда тонкая защитная ткань его равнодушия прорвалась и сконцентрированный крик боли, печали и тревоги за судьбы человечества обрушился на людей и будет звучать вечно во времени и пространстве.

Критика всех направлений того времени обошла появление этого рассказа глухим молчанием. Не был понят он и в первой трети XX века, и, судя по пародированию его первых фраз в «Двенадцати стульях», воспринимался, по-видимому, как один из образцов мрачного юмора.

Наиболее близко к восприятию уникальной пророческой информации, содержащейся в этом рассказе, подошел Корней Чуковский. Его трактовка сюжета «Скрипки Ротшильда» уникальна еще и в том смысле, что, работая в условиях сусловского идеологического террора и советского государственного антисемитизма, он сумел на десяти страницах, посвященных этому рассказу, ни разу не упомянуть Ротшильда. Вот в каких «масках» появляется Ротшильд в книге Чуковского «О Чехове. Человек и мастер»: «Человек (это и есть Ротшильд.— Л.Я.) загнан в узкую щель своего городка, он опутан нищетой и суевериями, и стоит ему выйти на улицу, как его начинает преследовать дикая свора мальчишек, символизирующих в рассказе ту звериную злобу, которая свирепствует во всем городе».

И еще: «Песнь эта «не пропала зря». Ее услышал другой музыкант (это и есть Ротшильд.— Л.Я.), «испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг», — и когда впоследствии этот музыкант повторял ту мелодию, слушатели, по словам Чехова, плакали.

Сказался опыт, приобретенный Чуковским, когда он в пересказе Библии для детей исключил «по указанию коммунистической партии и советского правительства» упоминания о том, что речь в Книге Книг идет, собственно говоря, об евреях.

Впрочем, в отношении Ротшильда, явно второстепенной фигуры в рассказе, он не так уж погрешил: Чехов сам, видимо, стараясь обратить внимание на схематичность этого образа, сконструировал его, используя творение Гоголя.

У Гоголя: «высокий и длинный, как палка, жид» (Янкель); «рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо» (варшавский еврей); «тощий

жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами» (Мардохай). У Чехова Ротшильд: «рыжий тощий жид с целой сетью красных и синих жилок на лице». А дальше «красные и синие жилки» превращаются в множество «рыжих веснушек», уже совсем как у гоголевского жида. То, что Чехов в то время находился под впечатлением «Тараса Бульбы», подтверждает и такой отрывок из его письма сестре: «Нижайший поклон Евдокии Исааковне и ее мужу Мордухаю Янкелевичу...

Надеюсь, что ты уже здорова и не заразила жабой ни одного еврейчика» (М. Чеховой, 2 марта 1895 г.).

Здесь имена вышеупомянутых гоголевских персонажей Мардохая и Янкеля использованы в шуточной кличке, присвоенной Чеховым мужу его первой невесты Дуни Эфрос — Ефиму Зиновьевичу Коновицеру.

Таким образом, сверхзадачей рассказа «Скрипка Ротшильда» было не создание каких-нибудь типических образов и типических обстоятельств, искать которые в нем бессмысленно, а совсем иное. Рассказ этот является страстным пророчеством бед и несчастий, ожидающих человечество в будущем, если люди не откажутся от вражды и нетерпимости друг к другу.

И может быть, поминая «жидовский оркестр» Моисея Ильича Шахкеса, Чехов уже различал в недалеком будущем смутные контуры другого «жидовского оркестра», игравшего по воле озверевших потомков мейстерзингеров на плацу в Освенциме «Тум-балалайку», когда очередную партию беззащитных женщин, детей и стариков гнали на убой «меломаны»-недочеловеки. И не врывался ли тогда в эту веселую музыку смерти печальный голос скрипки Ротшильда, взывающий к отсутствующей в этом проклятом Богом месте человечности и к оглохшему человечеству? «Зачем люди делают всегда не то, что нужно? <...> Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу»; «зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?» — так думает главный герой рассказа Яков Иванов, предчувствуя приближение смерти. И на ее пороге он делает первый шаг к освобождению от угнетавших его всю жизнь ненависти и злобы, к освобождению от рабства, довлевшего над его сознанием и поступками всю его долгую и оказавшуюся бесплодной жизнь: он обращается со словом

«Брат!» к человеку, олицетворявшему для него тот самый фроммовский «объект пренебрежения», презрение к которому позволяло ему, как ему казалось, сохранять остатки самоуважения.

Не находя слов, чтобы выразить все то, что перевернуло его душу, он берет в руки скрипку и играет для себя и для своего единственного слушателя — Ротшильда, облекая в музыку всю сохраняющуюся в его сердце человечность. И его музыка, и его любимая скрипка по его посмертной воле переходят к тому, кого он всю жизнь считал неизмеримо ниже себя и кого он мог без зазрения совести обидеть, оскорбить, избить и даже убить. И в этот момент пророчество беды, внесенное в этот мир Чеховым, сменяется его верой в то, что музыка души, живущая в каждом человеке, еще может победить ненависть и злобу, разделяющие людей.

Корней Чуковский был единственным литературоведом, который услышал в «Скрипке Ротшильда» не спор о том, может ли среди евреев появиться гений-творец в области искусства или им суждено быть только виртуозами-исполнителями, не «заунывное и давно не новое разоблачительство русской жизни», не «символический призыв к русско-еврейскому примирению» и прочую заведомую ложь или надуманную чушь, а то, что там действительно есть, — пронзительный крик Гения, обращенный из Его Космоса ко всему человечеству. Чуковский писал, что, если бы кто-нибудь в то время, когда «гениальный рассказ «Скрипка Ротшильда» появился в печати, «дерзнул указать, что с появлением этого рассказа русская литература обогатилась одним из величайших шедевров, какие только знает мировое искусство, не нашлось бы такого печатного органа, который согласился бы опубликовать эту «ересь». Добавим, что, судя по той галиматье, которую печатают о «Скрипке Ротшильда» нынешние «органы», эту мысль Чуковского и сейчас опубликовать было бы непросто.

Между тем сегодня, через более чем сто лет после публикации «Скрипки Ротшильда» и после геноцида армян и Холокоста, об угрозе которых предупреждал на страницах этого рассказа Чехов, зная об обстоятельствах появления этого рассказа, можно смело утверждать, что перед нами Боговдохновенный текст, Откровение, ниспосланное смертному откуда-то свыше, из межзвездных пространств, и что все остальное в нем — форма, место действия, действующие лица — есть вещи условные и второстепенные.

Чтобы люди лучше поняли это, в «Скрипке Ротшильда» из другого Боговдохновенного текста — знаменитого сто тридцать шестого псалма — дважды появляется образ вербы, и оба раза этот образ связан с воспоминаниями людей, обреченных на скорую кончину:

«Мы с тобой тогда на речке сидели и песни пели... под вербой»;

«И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенец с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать» («Скрипка Ротшильда»).

«На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; На вербах, посреди его повесили мы свои арфы...» (Псалом 136).

Яков чуть было не позабыл свой «Иерусалим» — все хорошее и плохое в своей прошлой жизни, но он успел, пока не отсохла десница и не прилип язык к гортани, попытаться ослабить силы Зла своим покаянием, и это покаяние было принято. Бессмертный текст Чехова под названием «Скрипка Ротшильда» вместе с Библией и Кораном должен всегда находиться под рукой у «сильных мира сего», считающих себя вправе «решать» судьбы людей и народов. Конечно, учитывая невысокий интеллектуальный уровень таких «прирожденных правителей», чеховский текст должен быть тщательно прокомментирован, как, например, Библия короля Якова. Объем таких комментариев Чуковский оценивал в пять-шесть страниц на каждые две чеховские строчки, и это вряд ли будет преувеличением.

Не обошлось в «Скрипке Ротшильда» и без злободневной символики того времени. Фамилия «Ротшильдов» с 70-х гг. XIX века для русских антисемитов всех мастей была своего рода жупелом. Когда речь заходила о «мировом засилье евреев», любой русский антисемит немедленно называл Ротшильда, хотя уже к тому времени появились довольно многочисленные финансовые магнаты-неевреи, превосходившие Ротшильдов своим капиталом. Присваивая фамилию «известного богача» жалкому еврею-бедняку, живущему случайными заработками, Чехов пытался охладить антисемитский пыл своих современников и заставить их понять, что банкирский дом Ротшильдов — это далеко не все «мировое еврейство».

Следом за «Скрипкой Ротшильда» в тех же «Русских ведомостях» 16 апреля 1894 г. был опубликован еще один гениальный рассказ Чехова «Вечером», получивший впоследствии название «Студент» и отнесенный С.Булгаковым к «драгоценнейшим перлам чеховского творчества, где на трех страницах вмещено огромное содержание». В дальнейшем, составляя свои сборники, Чехов всегда помещал «Студента» рядом со «Скрипкой Ротшильда». Применяя терминологию русско-еврейских литературоведов, «Студента» также можно считать рассказом на «еврейскую тему» — одной из линий этого весьма краткого повествования является легенда о трехкратном отречении святого Петра. И место действия — в Гефсиманском саду, и действующие лица легенды сугубо еврейские. И эта далекая еврейская жизнь волей идущего домой через заливной луг по тропинке студента духовной академии Ивана Великопольского (опять Гоголь — «Вий»!) через многие века соприкасается с жизнью забытого Богом и людьми хутора в русской глубинке, и душевные муки еврея Симона-Петра вызывают слезы и сострадание у вдовы Василисы и ее дочери Лукерьи. Но не ради подтверждения невременности христианских догматов включил эту евангельскую легенду в свой рассказ Чехов, а чтобы люди осознали живую связь времен. «Прошрое, — думал он, — связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой». Для этой же цели М.Булгакову пришлось исписать более сотни страниц параллельной истории Иешуа Га-Ноцри и «Мастера».

Напомним, что рассказы Чехова «Скрипка Ротшильда» и «Студент», указующие человечеству Путь из мрака — к Свету, занимают всего четырнадцать страничек. Таков был Чехов.

В «ДЕЛЕ ДРЕЙФУСА»

Капитан французского Генерального штаба еврей Альфред Дрейфус был судим в 1894 г. французским военным судом за шпионаж в пользу Германии и приговорен к вечной ссылке на Чертов остров во Французской Гвиане. Единственным доказательством вины Дрейфуса было перехваченное французской контрразведкой шпионское донесение («бордеро»), будто бы написанное его рукой.

Этот первый процесс по «делу Дрейфуса» привлек внимание французской и мировой общественности вопиющими нарушениями закона, с которыми проводились следствие и суд. Серьезные подозрения вызывала также явно инспирированная французскими властями разнузданная антисемитская кампания, имевшая своей целью прикрыть судебные махинации.

Внимания Чехова первый процесс по «делу Дрейфуса», как уже говорилось, не привлек, несмотря на то что «Новое время» сразу же подключилось к антисемитской травле Дрейфуса и его защитников.

События же тем временем развивались так: новый начальник французской контрразведки Ж.Пикар в 1896 г. обнаружил, что автором шпионского донесения был не Дрейфус, а представитель франко-австрийской аристократической семьи майор Эстергази. Пикар поставил об этом в известность Генеральный штаб, за что и был срочно отстранен от должности и командирован в Тунис. Об этом факте узнал сенатор О.Шерер-Кестнер и обратился к военному министру с требованием о пересмотре дела, о чем 18 (30) октября появилось сообщение в газете «Фигаро». Не получив официального ответа, Шерер-Кестнер опубликовал в газете письмо о невинности Дрейфуса.

Затем 4 (16) ноября открытое письмо военному министру опубликовал в «Фигаро» Матье Дрейфус, брат осужденного. В этом письме изменник Эстергази был назван по имени. К тому времени вышло второе издание брошюры В. Лазара «Судебная ошибка. Правда о деле Дрейфуса».

Чехов выехал из России 1 сентября 1897 г. Он намеревался остановиться в Биаррице, но, побывав там и посетив Париж и Монте-Карло, обосновался в русском пансионе в Ницце.

4 (16) декабря 1897 г. он пишет из Ниццы издателю газеты «Русские ведомости» юристу В. Соболевскому: «Я целый день читаю газеты, изучаю дело Дрейфуса. По-моему, Дрейфус не виноват».

Что же заставило Чехова, до того времени «не замечавшего» этого громкого процесса, вдруг обеспокоиться судьбой Дрейфуса настолько, чтобы тратить день за днем на чтение французских газет, особенно, если учесть, что он слабо знал французский язык? Неужели только курортная скука?

Причиной довольно непродолжительной, но очень энергичной вспышки интереса Чехова к «делу Дрейфуса» была, по-видимому, активная позиция, занятая по отношению к этой правительственной провокации Эмилем Золя, за творчеством которого он уже много лет следил с интересом и, хоть и не всегда, с симпатией.

Однако Золя при всей его популярности во Франции и в мире не смог перестроить общественное сознание, и страна разделилась на два лагеря — дрейфусаров и антидрейфусаров. Колеблющихся было также немало, так как в обстановке инспирированной правительством псевдопатриотической, шовинистской и антисемитской истерии, подкреплявшейся сознательным обманом населения, определить, где ложь, а где правда, даже непредубежденным людям было трудно.

Так, например, Альфонс Доде говорил корреспонденту газеты «Ле Матин»: «Все это дело меня смущает и сбивает с толку... Должно представить доказательства всей стране, которая измучена всеми этими гнусными рассказами. Лично я, впрочем, не верю в возможность таких доказательств. Десять офицеров на основании документов постановили приговор, а я один стану его оспаривать! Такою верою в свою непогрешимость я не обладаю. Никакого участия я в этом деле не принимал, но полагаю до сих пор, что вели его правильно».

Всегда готовая к антисемитским подвигам и «разоблачениям» суворинская газета с упоением цитировала известного французского критика Ф. Сарсе (до тех пор, конечно, пока

он не перешел в лагерь убежденных дрейфусаров), говорившего по недомыслию в ноябре 1897 г., что «двенадцать офицеров не могли ошибиться» и что, «если он вздумает, несмотря на это, вступить за Дрейфуса, то его станут подозревать, что он подкуплен евреями».

«Новое время», вероятно, поступало в пансион в Ниццу. Во всяком случае, в письмах Чехова чувствуется осведомленность о суворинских комментариях к «делу Дрейфуса», и Чехов понимал, насколько могут быть убедительны эти публикации для большинства читателей. Возможно, сложившееся в нем внутреннее почти инстинктивное неприятие всего того, о чем писалось в «Новом времени», было второй причиной, побудившей его самому разобраться во французских «первоисточниках».

Насколько это было нелегко, свидетельствует и тот факт, что далеко не всем образованным и непредвзятым людям России, занимавшим активную общественную позицию, удалось быстро и правильно разобраться в ситуации. Даже великолепно владевший, в отличие от Чехова, французским языком Лев Толстой тоже не мог поверить в невинность Дрейфуса и в январе 1898 г. говорил корреспонденту газеты «Камско-волжский край»: «Мне, по моим убеждениям, очень противна эта жидофобия во Франции и ее современный шовинизм, крики за армию, и, признаюсь, я сочувствовал движению, которое, казалось, добивается оправдания невинно осужденного. Но вот вмешалась молодежь, студенты, всюду чуткие ко всему хорошему; они за правительство, и я начинаю сомневаться, и меня смущает — как бы правда не на их стороне».

«Нейтральный» наблюдатель Вас. Немирович-Данченко тоже, как положено русскому человеку, «уважал» начальство, поскольку, как известно, в руководители «дураков не поставят», о чем он и писал Чехову 3 декабря 1897 г.: «В Париже дело Дрейфуса захватило меня совсем. Был я и в палате, и в сенате (здесь имеются в виду заседания, на которых правительство подтвердило «виновность» Дрейфуса.— Л.Я.). Жаль, что я не держал с Вами пари!»

Сомнения терзали и добродушнейшего Ф. Батюшкова: «Что касается истории с Zola, то не думаете ли Вы, что в сочувствии к нему большую роль сыграло просто недовольство правительством, против которого он решился выступить? Конечно, было бы ужасным, если бы осудили невинного, но в этом что-то все меньше и меньше сомневаются. Я как раз теперь сидел две недели в суде присяжных — ратовал

неизменно за оправдание воришек. И вот присмотревшись к другим присяжным, думал — а все же никто из них не решился бы осудить невинного, как бы некоторые из них не щеголяли «строгостью». Думаю, что и в деле Дрейфуса должны были быть несомненные улики, вопреки моему приятелю Paul Meyer'у, который склонен обвинить Эстергази. Противны лишь безумные и бессмысленные уличные манифестации, но ведь дело Дрейфуса перейдет в историю — ужели его обвинители об этом могли не подумать и обречь себя на вечное бесславие? Что-то не верится» (Ф. Батюшков — Чехову, 15 января 1898 г.).

Наивный Батюшков полагал, что французские антисемиты испугаются перспективы «вечного бесславия», но ему, в отличие от Чехова, было суждено дожить до еще более бесславного «дела» — «дела Бейлиса», против которого вообще не было никаких улик, наоборот, с самого начала все было ясно: четыре уголовника-педераста, связанные с киевской погромной организацией «Двуглавый орел», в воровском притоне, оберегаемом охранкой, изнасиловали мальчика, который умер во время их оргии. После этого «братва» потыкала его ножичком, каждый по очереди, и перепачканный семенем труп подбросили «евреям». А какой «процесс» закружился! Даже «интеллигентнейшие» звезды местной «филосомудии» (слово сконструировано Чеховым) Розанов и Флоренский ретиво накинулись на невинного (как выражается Ф. Батюшков). Думаю, что, доживи Чехов до этой мерзости, сама по себе его национальная причастность к фигурантам «обвинения» была бы для него смертельной мукой.

А тогда, во времена «дела Дрейфуса», даже будущие отцы русской демократии вроде А. Амфитеатрова с наслаждением повторяли клевету на Золя и прочих дрейфусаров.

Чехов же, следуя своему правилу, не касается политики в каких бы то ни было своих публикациях. О своем убеждении в невинности Дрейфуса — убеждении, дарованном ему его пророческим всеведением, — он говорил и писал всем близким и дальним знакомым, которые впоследствии не раз вспоминали об этой его убежденности, удивляясь его прозорливости.

Сам же он вначале, как и Золя, считал, что в деле Дрейфуса была допущена элементарная судебная ошибка, но, в отличие от Золя, он скоро понял, что все это «дело» — сознательное мошенничество правящей верхушки Франции. И когда «Новое время» смаковало подробности антисемитских манифестаций

и погромов, Чехов посылает из Ниццы брату Александру брошюру Э. Золя «Дело Дрейфуса. Письма к юным» (Париж, 1897).

Затем он пишет Суворину из Ниццы: «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Зола, благородная душа, и я (принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков) в восторге от его порыва» (А. Суворину, 4 (16) января 1898 г.).

За этой краткой фразой следующие события: 11 января н.ст. военный суд под давлением Генерального штаба и военного министерства оправдал Эстергази вопреки фактам, чтобы снять вопрос о пересмотре дела Дрейфуса. Но уже 13 января н.ст. в газете «Аврора» появилось письмо Золя к Ф. Фору, президенту республики, под заглавием «Я обвиняю!» В первый же день только во Франции разошлось 300 тыс. экземпляров этого письма.

В своем письме Золя прослеживал весь ход «дела» с 1894 г. и поименно обвинял представителей верхушки военного министерства, Генерального штаба, военный суд как «злокозненную свору истинных преступников». «Самоуправство горстки чинов» стало возможным, писал Золя, в обстановке, «когда одурманивают сознание простого люда и бедноты, потворствуют мракобесию и нетерпимости, пользуясь разгулом отвратительного антисемитизма».

Слова Чехова в письме к Суворину свидетельствуют о том, что он понимал, что начинается новый и длительный этап борьбы вокруг «дела Дрейфуса». Об этом писал и Золя: «Лишь теперь начинается настоящее дело Дрейфуса, ибо лишь теперь обозначились окончательно позиции противоборствующих сторон: с одной стороны, злодеи, всеми правдами и неправдами стремящиеся похоронить истину, с другой стороны, правдолюбцы, готовые отдать жизнь за торжество правосудия».

Сразу же после появления открытого письма Золя «Новое время» возобновило свои нападки на великого французского писателя, для начала 3 (15) января 1898 г. объявив его выступление «фактом психиатрии» и потому неподсудным. Сам Суворин в своем очередном «Маленьком письме» объяснял мужественный шаг Золя тем, что «восстает самолюбие знаменитого писателя, задетого за живое, больно, чрезвычайно больно укушенное неуспехом»; после чего «укушенный» Золя прибег, мол, к «скандалу, как к средству шумному и весьма безопасному».

Излюбленной темой французских антисемитских газет и их российских прислужниц типа «Нового времени» и «Московских ведомостей», как и самого Суворина, была болтовня о том, что защита Дрейфуса финансируется неким «Международным еврейским синдикатом» — прообразом «сионских мудрецов» и «международного сионизма», придуманного мудрецами-идеологами советского национал-большевизма. Кстати, ряд исследователей именно к этому периоду — 1897—1900 гг. — относит фабрикацию агентурой российской жандармерии под руководством русского террориста и шпиона-резидента в Париже Рачковского первой редакции «сионских протоколов», обнародованной впоследствии (в 1903 г.) в России погромщиком Крушеваном, осведомителем русской охранки. А тогда Суворин объявил всех тех, кто был убежден в невинности Дрейфуса, «лакеями еврейской плутократии». Поскольку это «звание» автоматически присваивалось им и Чехову, то тот тут же «отчитался» в получении «от евреев 100 франков».

Вопросу о мнимом «Международном еврейском синдикате» Золя посвятил специальную статью «Синдикат» («Фигаро», 1 декабря 1897 г.), в которой писал, что если и существует синдикат, то это «синдикат людей доброй воли, сторонников правды и справедливости».

Чехов предпочитал эпистолярное общение, откровенно раскрывая свои взгляды перед людьми различных убеждений, веря, что брошенные им зерна дадут хорошие ростки. «У нас только и разговора, что о Золя и Дрейфусе. Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невинность Дрейфуса. Золя вырос на целых три аршина: от его протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава Богу, есть еще справедливость на свете и что, если осудят невинного, есть кому вступить. Французские газеты чрезвычайно интересны, а русские — хоть брось. «Новое время» просто отвратительно» (Ф. Батюшкову, 23 января (4 февраля) 1898 г. из Ниццы).

Как раз в эти дни «Новое время» перепечатывало целые страницы из антисемитских статей А. Рошфора и Э. Дрюмона, возглавлявших травлю Дрейфуса, хотя прежде зло иронизировало над парижскими газетами, принадлежавшими этим грязным писакам.

И в эти же дни Чехов делает последнюю попытку как-то вразумить Суворина и пишет ему большое и откровенное письмо о своих взглядах на дело Дрейфуса и на ситуации,

порожденные этим сфабрикованным французским правительством процессом. Письмо это потрясает глубиной и четкостью понимания Чеховым всех тайных и явных политических приемов, ясным предчувствием беды:

«Вы пишете, что Вам досадно на Зола, а здесь у всех такое чувство, как будто народился новый, лучший Зола. В этом своем процессе он, как в скипидаре, очистился от наносных сальных пятен и теперь засиял перед французами в своем настоящем блеске. Это чистота и нравственная высота, каких не подозревали. Вы проследите весь скандал с самого начала. Разжалование Дрейфуса, справедливо оно или нет, произвело на всех (в том числе, помню, и на Вас) тяжелое, унылое впечатление. Замечено было, что во время экзекуции Дрейфус вел себя как порядочный, хорошо дисциплинированный офицер, присутствовавшие же на экзекуции, например, журналисты, кричали ему: «Замолчи, Иуда!», т.е. вели себя дурно, непорядочно. Все вернулись с экзекуции неудовлетворенные, со смущенной совестью. Особенно был неудовлетворен защитник Дрейфуса, Demange, честный человек, который еще во время разбирательства дела чувствовал, что за кулисами творится что-то неладное, и затем эксперты, которые, чтобы убедить себя, что они не ошиблись, говорили только о Дрейфусе, о том, что он виноват, и все бродили по Парижу, бродили... Из экспертов один оказался сумасшедшим, автором чудовищно нелепой схемы, два чудаками. Волей-неволей пришлось заговорить о бюро справок при военном министерстве, этой военной консистории, занимавшейся ловлей шпионов и чтением чужих писем, пришлось заговорить, так как шеф бюро Sandherr, оказалось, был одержим прогрессивным параличом, Paty de Clam явил себя чем-то вроде берлинского Тауша, Picquart ушел вдруг, таинственно, со скандалом. Как нарочно, обнаружился целый ряд грубых судебных ошибок. Убедились мало-помалу, что в самом деле Дрейфус был осужден на основании секретного документа, который не был показан ни подсудимому, ни его защитнику — и люди порядка увидели в этом коренное нарушение права; будь письмо написано не только Вильгельмом, но хотя бы самим солнцем, его следовало показать Demange'у. Стали всячески угадывать содержание этого письма. Пошли небылицы. Дрейфус — офицер, насторожились военные; Дрейфус — еврей, насторожились евреи... Заговорили о милитаризме, о жидках. Такие глубоко неуважаемые люди, как Дрюмон, высоко подняли голову; заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на

почве, от которой пахнет бойней. Когда в нас что-нибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро находим: «Это француз гадит, это жида, это Вильгельм...» Капитал, жупел, масоны, синдикат, иезуиты — это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство! Они, конечно, дурной знак. Раз французы заговорили о жиде, о синдикате, то это значит, что они чувствуют себя неладно, что в них завелся червь, что они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою взбаламученную совесть. Затем этот Эстергази, бреттер в тургеневском вкусе, нахал, давно уже подозрительный, не уважаемый товарищами человек, поразительное сходство его почерка с бордеро, письма улана, его угрозы, которых он почему-то не приводит в исполнение, наконец суд, совершенно таинственный, решивший странно, что бордеро написан почерком Эстергази, но не его рукой... И газ все накапливался, стало чувствоваться сильное напряжение, удручающая духота. Драка в палате — явление чисто нервное, истерическое именно вследствие этого напряжения. И письмо Зола, и его процесс — явления того же порядка. Что вы хотите? Первыми должны были поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации, — так и случилось. Первым заговорил Шерер-Кестнер, про которого французы, близко его знающие (по словам Ковалевского), говорят, что это «лезвие кинжала» — так он безупречен и ясен. Вторым был Зола. И вот теперь его судят.

Да, Зола не Вольтер, и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек в том, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги. Доктор Гааз тоже не Вольтер, и все-таки его чудесная жизнь протекла и кончилась совершенно благополучно.

Я знаком с делом по стенографическому отчету, это совсем не то, что в газетах, и Зола для меня ясен. Главное, он искренен, т.е. он строит свои суждения только на том, что видит, а не на призраках, как другие. И искренние люди могут ошибаться, это бесспорно, но такие ошибки приносят меньше зла, чем рассудительная неискренность, предубеждения или политические соображения. Пусть Дрейфус виноват, — и Зола все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно

обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много, и во всяком случае роль Павла им больше к лицу, чем Савла. И какой бы ни был приговор, Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошая старость, и умрет он с покойной или по крайней мере облегченной совестью. У французов наболело, они хватаются за всякое слово утешения и за всякий здоровый упрек, идущие извне, вот почему здесь имело такой успех письмо Бьернстерна и статья нашего Закревского (которую прочли здесь в «Новостях»), и почему противна брань на Золя, т.е. то, что каждый день им подносит их малая пресса, которую они презирают. Как ни нервничает Золя, все-таки он представляет на суде французский здравый смысл, и французы за это любят его и гордятся им, хотя и аплодируют генералам, которые, в простоте души, пугают их то честью армии, то войной.

Видите, какое длинное письмо. У нас весна, такое настроение, как в Малороссии на Пасху: тепло, солнечно, звон, вспоминается прошлое. Приезжайте!» (А. Суворину, 6 (18) февраля 1898 г.).

В своем письме Чехов крайне бережно относится к Суворину. Он пытается объяснить и убедить, а не высмеять достойное осмеяния зловонное варево «Нового времени», вызывавшее у него отвращение. Он хотел, чтобы Суворин сам понял гнусность своей газеты, на страницах которой Золя именовался «аферистом» и «душевнобольным», и пытался объяснить, что его, как и Золя, волнует не «еврейский вопрос» и не личность Дрейфуса, а поруганные французским правительством и военным судом справедливость и права человека. И он перечисляет их явные нарушения — фантазии подкупленных экспертов, фабрикацию документов, засекречивание фальшивых доказательств.

Именно во время пребывания Чехова во Франции появились сообщения об основании тайного «общества для борьбы с евреями и франк-масонами» (Золя был причислен к масонам), и Чехов пишет, что эта каша, заваренная на антисемитизме, «пахнет бойней». В письме Чехова оживает картина всевропейской поддержки Золя — от письма норвежца Б.Бьернсона до свежайшей статьи русского сенатора И. Закревского в «Новостях и Биржевой газете», содержавшей такие слова:

«Золя бросился в самый разгар борьбы, бросился с беззаветным мужеством великого ума и сердца — и одержал победу! Да, он одержал ее, каков бы ни был приговор присяжных,

но лучшие, благороднейшие, талантливейшие люди со всех концов мира шлют восторженные приветствия знаменитому писателю-борцу».

Еще до окончания суда над Золя Чехов отвечает на письмо уже уехавшей в Россию соседки по пансиону в Ницце художнице Хотинцевой, создавшей серию чеховских портретов-шаржей под названием «Чехиада»:

«Вы спрашиваете меня, все ли я еще думаю, что Золя прав. А я Вас спрашиваю: неужели Вы обо мне такого дурного мнения, что могли усумниться хоть на минуту, что я не на стороне Золя? За один ноготь на его пальце я отдам всех, кто судит его теперь в ассизах, всех этих генералов и благородных свидетелей. Я читаю стенографический отчет и не нахожу, чтобы Золя был неправ, и не вижу, какие тут еще нужны *preuves**» (А.Хотинцевой, 9 (21) февраля 1898 г.).

Письмо брату Александру менее эмоционально и более конкретно:

«В деле Золя «Новое время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном), — и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что любит военных, — не хочу, потому что все это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Золя *задаром*, а в газете выливать на этого же Золя помой — и за что? за то, что никогда не было знакомо ни одному из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы то ни было, ругать Золя, когда он под судом — это не литературно» (Ал. Чехову, 23 февраля (7 марта) 1898 г.).

Это письмо было откликом на то, что во все дни суда над Золя «Новое время» продолжало свои нападки на него и всех его сторонников, а защитников на процессе именовало «темные личности, переодетые в адвокатов». Сопровождавшие суд антисемитские демонстрации Суворин называл народным «плебисцитом», выражающим патриотические чувства французов. В это же время будущий редактор газеты «Красное знамя» Амфитеатров подвывал Суворину, подводя теоретическую базу под обоснование «законности» антисемитизма во Франции и в России. «Приговор вызывает невыразимый восторг. После него почувствовалось общее

* доказательства (фр.).

облегчение и успокоение», — такими словами «Новое время» известило своих читателей о том, что Золя приговорен к году тюрьмы и 3000 франкам штрафа.

Активная позиция, занятая Сувориным в отношении «лакея еврейской плутократии» Золя, не мешала ему, пользуясь отсутствием франко-русской конвенции по авторскому праву, наживаться, печатая роман «Париж» «с продолжениями», и готовить его выпуск отдельной книгой.

Однако в письме Чехова к брату дает себя знать и глубоко личная обида на нравственную глухоту и лицемерное, двурушническое отношение Суворина к его, Чехова, позиции в деле Дрейфуса. На это обстоятельство проливают свет воспоминания М. Ковалевского:

«Во время известного дела Дрейфуса он (Чехов) с жаром читал газеты и, убедившись в невинности «оклеветанного еврея», писал не кому другому, как Суворину, горячие письма о том, что нечестно травить ни в чем неповинного человека. Суворин, как рассказывал мне Чехов, в ответ на одно из таких писем, написал ему: «Вы меня убедили». «Никогда, однако, — прибавлял Чехов, — «Новое время» не обрушивалось с большей злобой на несчастного капитана, как в недели и месяцы, следовавшие за этим письмом». «Чем же объяснить это?» — спросил я. «Не чем другим, — ответил Чехов, — как крайней бесхарактерностью Суворина. Я не знаю человека более нерешительного и даже в делах, касающихся собственного семейства».

Брат Александр был, естественно, не на стороне «старца», и об этом свидетельствует его письмо Михаилу: «Насчет Дрейфуса и Золя оставляю тебя в неведении, ибо общество об этом ничего не думает. Думало да перестало. У него своих мнений нет. Это стадо. Лучшие же люди думают так: «В деле Золя «Новое время» вело себя гнусно»... Это мне пишет Антон из Ниццы, и я с ним вполне согласен» (Ал. Чехов — Мих. Чехову, 4 марта 1898 г.).

Впрочем, Чехов и сам написал брату Михаилу:

«Ты спрашиваешь, какого я мнения насчет Золя и его процесса. Я считаюсь прежде всего с очевидностью: на стороне Золя вся европейская интеллигенция и против него все, что есть гадкого и сомнительного».

И в этом же письме:

«Новое время» ведет нелепую кампанию, зато большинство русских газет, если и не за Золя, то против его преследователей» (О. и М. Чеховым, 22 февраля (6 марта) 1898 г.).

Видимо, в это время Чехов, думая о Дрейфусе, думал и о том, как трудно приходится человеку одному во враждебном мире, среди всеобщей ненависти и травли, и по ассоциации вспомнил Надсона. Он просит отъезжавшего в Россию студента-медика Николая Тугаринова прислать ему в Ниццу портрет поэта, рассчитывая поместить его в местной русской газете. 7 марта 1898 г. портрет уже был у него. Тугаринов писал: «Посылаю Вам портрет Надсона, увы, только лучший из всех московских фотографий, но отнюдь не лучший на самом деле... Посоветуйте заретушировать немного и освежить костюм Надсона. Лицо же вышло удачно, и его чудный лоб освещен очень хорошо... От Зола уже неделю назад получил портрет с любезной надписью. Большое Вам спасибо за Вашу любезность, что устроили это мне» (Н.Тугаринов — Чехову, 7 марта 1898 г.).

Отмена кассационным судом приговора, вынесенного Золя, видимо, привела к некоторому затишью во французской прессе, во всяком случае в марте — апреле Чехов почти не уделял внимания делу Дрейфуса. Тем временем подошли сроки отъезда, и Чехов заторопился в Россию. Путь его лежал через Париж, и Чехов едва не нарушил свое правило не выступать публично на политические темы. Он встречается с Бернардом Лазаром — автором уже упоминавшейся брошюры, в которой был впервые обоснованно поднят вопрос о необходимости пересмотра дела Дрейфуса. Вот как отразилась эта встреча в его письме таганрогскому санитарному врачу П.Иорданову:

«Полный отчет по делу Зола купил и пришлю. Вчера я виделся с Бернард Лазаром, автором брошюры, которая послужила началом войны, и взял у него все, что есть интересного по дрейфусовой части — и тоже пришлю. Дело Дрейфуса, как обнаруживается мало-помалу, это крупное мошенничество. Изменник настоящий Эстергази, а документы фабриковались в Брюсселе; об этом было известно правительству, в том числе и Казимиру Перье, который с самого начала не верил в виновность Дрейфуса и теперь не верит» (речь идет о президенте Французской республики К.Перье, избранном в 1894 г. и через несколько месяцев ушедшем в отставку из-за своего несогласия с действиями правительства на процессе Дрейфуса.— Л.Я.) (П.Иорданову, 21 апреля (3 мая) 1898 г.).

Бернард Лазар предложил превратить состоявшуюся у них беседу в интервью Чехова французской печати, и Чехов ее записал. Однако из этой затеи получилась какая-то путаница.

Некоторую ясность в нее вносит отправленное за несколько дней до отъезда из Парижа письмо Чехова корреспонденту «Нового времени» в Париже И. Павловскому, по чьей инициативе и произошла встреча Чехова с Бернардом Лазаром:

«Прилагаю рукопись. Сам Bernard Lazare, как оказывается, не воспользовался нашим разговором и передал материал другому лицу, это же лицо написало нечто такое, с чем я не могу связать своего имени. Вначале еще ничего, но середина и конец совсем не то. Мы не говорили ни о Мелине, ни об антисемитизме, не говорили о том, что человеку свойственно ошибаться (стр. 4-я); план и цели нашей беседы были совсем иные. Вы помните, например, что я уклонился от ответа на вопрос о русском общественном мнении, ссылаясь на то, что я ничего не знаю, так как зиму прожил в Ницце; я высказал только свое личное мнение о том, что наше общество едва ли составило себе правильное суждение о деле Зола, так как оно не могло понять этого дела; это дело, говорил я, не в нравах нашего общества» (И. Павловскому, 28 апреля (10 мая) 1898 г.).

Текст, направленный Чеховым Павловскому, не сохранился, но это письмо свидетельствует о том, что беседа, которую он хотел предать гласности, была достаточно отвлеченной, и ни французской политики, ни восприятия дела Дрейфуса — Золя русским обществом она не касалась.

Не состоялось и другое публичное выступление Чехова — на встрече в парижском Обществе русских студентов. Приглашение студентов ему передал некий Е. Семенов (он же С. Кюган), лично знакомый с Золя. Чехов в этот момент уже готовился к возвращению в Россию, и до его отъезда оставалось буквально несколько часов. «А вот у Золя я хотел бы быть, и все бросил бы и заехал к нему... Но — язык... Дурак дураком будешь», — будто бы сказал Семенову Чехов и стал расспрашивать, как себя чувствует сейчас Золя, и передал ему благодарность словами: «человека за человека благодарю». Когда Семенов рассказал об этом Золя, тот был тронут и тоже просил передать Чехову благодарность и привет.

Незадолго до отъезда Чехова в Париж приехал Суворин (20 апреля 1898 г.). «Здесь Чехов. Все время со мной», — записывает Суворин в своем дневнике. Видимо, Чехов пытался как-то переориентировать Суворина в деле Дрейфуса, но вряд ли это ему удавалось. По своему обыкновению Суворин со всем соглашался, но наедине с собой становился тем, чем он был на самом деле:

«Вчера были выборы в палату депутатов. Избран Дрюмон, забаллотирован Рейнак. Дрейфусарам не повезло. Смешно мне было говорить с де Роберти, который в «синдикате», как он выражается. У Щукина он говорил об этом деле с таким пафосом, что можно было подумать, что дело идет о самых драгоценных его интересах. Онегин смеялся над ним, что он хлопотал о том, чтоб попасть в свидетели по делу Золя. Он будет показывать, что Золя честный человек, точно для этого надо свидетельство де Роберти, и что Россия сочувствует Золя. Комедия! Я спросил его, видел ли он Золя? — «Видел». — «Что же он говорил что-нибудь о Дрейфусе?» — «Он говорил, что убежден в его невиновности». — «Ну, а доказательства?» — «Доказательств он не имеет» (А.Суворин. *Дневник*, 27 апреля 1898 г.).

Вернувшись в Россию в мае 1898 г., Чехов продолжал следить уже не столько за деталями дела Дрейфуса—Золя, сколько за реакцией «Нового времени» на связанные с ним события. Клевета, травля, искажения информации о тех, кто продолжал борьбу за справедливость, — об А.Франсе, С.Прудоме, Э.Лависсе и многих других, затеянная суворинской газетой пропаганда лживой книжонки Эстергази «Закулисная сторона дела Дрейфуса» возмущали Чехова до глубины души, и он писал в Петербург брату Александру, вероятно, надеясь, что его слова станут известны в редакции «Нового времени»:

«Поведение «Нового времени» в деле Дрейфуса — Золя просто отвратительно и гнусно. Гадко читать» (Ал. Чехову, 30 июля 1898 г.).

«Новое время» в деле Дрейфуса шлепается в лужу и все шлепается. Какой срам! Бррр!» (Ал. Чехову, 28 ноября 1898 г.).

В своих деловых письмах Суворину в этот период он уже дела Дрейфуса—Золя не касается. В беспринципности «старца» он убедился сам, да и письмо Павловского укрепило его в этом мнении:

«Удивительно странно ведет он себя в этом деле. Я был в Петербурге, когда пришло известие об аресте Анри (Эстергази). Суворин тогда делал мне комплименты, говорил, что я «победил», и просил немедленно ехать в Париж и писать. Хотя я писал очень осторожно, ни одна строка не была помещена, и газета опять вернулась к пошлостям... Мне пришлось съездить в Швейцарию, и там я случайно попал в компанию русских заправских дипломатов и военных, которые рассказали мне такие подробности, которые окончательно разъяснили мне всю эту подлую махинацию и убедили в полной

невинности Дрейфуса. Я написал об этом Суворину и сказал, что он защищает несправедливое и грязное дело, к которому я руки прикладывать не стану. Он ответил мне, как отвечал Вам, совсем из другой оперы» (И.Павловский — Чехову, 3 (15) октября 1898 г.).

Чехов ответил: «Алексей Сергеевич тоже писал мне, что я «победил» и проч. Вам нужно набраться терпения; по всей вероятности, придется пережить Вам еще немало сюрпризов» (И.Павловскому, 20 октября 1898 г.).

Суворин же, понимая, что игра, затеянная им вокруг дела Дрейфуса, проиграна, искал «достойные» пути отступления, и Чехов иронизирует по этому поводу:

«Читали ли маленькое письмо Суворина о лютеранских влияниях? Итак, дело Дрейфуса и вся беда — от лютеран» (И.Павловскому, 3 декабря 1898 г.).

Эту иронию Чехова вызвали глубокомысленные рассуждения Суворина о том, что «лютеранство берет Дрейфуса не как знамя, а как предлог к агитации. К судьбе Дрейфуса оно равнодушно, но путем агитации оно надеется достигнуть возрождения и примирения с Германией» («Новое время», 20 ноября 1898 г.).

Как говорится, крыша поехала.

Сам же Чехов продолжал следить за событиями, связанными с делом Дрейфуса, иногда получая информацию из первых рук — из писем И. Павловского. Одно из таких писем, где Павловский писал о настроениях французской интеллигенции, Чехову очень понравилось:

«Время теперь в высшей степени интересное: все изуверы и шарлатаны навалились на республику. Здешнее правительство боится даже восстания парижского гарнизона. Правда, с другой стороны, лучшие люди страны, которые до сих пор не мешались в политику, выступили на сцену: ходят на сходки, пишут в газеты, не жалеют ни боков, ни карьеры, ни даже жизни. Д-р Ру, открывший антидифтерийную сыворотку, говорил недавно одному моему приятелю: «Это дело мешает мне работать, не дает спать. Если иезуиты и антисемиты вызовут истерию, мы выйдем на улицу, дадим себя убить, но не уступим; человечество не может идти назад» (И.Павловский — Чехову, декабрь 1898 г.).

Мнение великого ученого и врача-подвижника Ру много значило для Чехова, хотя он и не был вполне уверен в том, что «человечество не может идти назад», и многими своими

творениями пытался уберечь людей от такого соблазна. Взгляды его не меняются, и об этом в его письмах:

«И.Я.Павловский теперь не в духе. Говоря по секрету, он не ладит с «Нов<ым> временем», которое на дело Дрейфуса смотрит иными глазами, чем он, и преспокойно переделывает его телеграммы» (П.Иорданову, 25 января 1899 г.);

«Как-никак, а в общем «Новое время» производит отвратительное впечатление. Телеграмм из Парижа нельзя читать без омерзения, это не телеграммы, а чистейший подлог и мошенничество. А статьи себя восхваляющего Иванова! А доносы гнусного Петербуржца! А ястребиные налеты Амфитеатрова! Это не газета, а зверинец, это стая голодных, кусающих друг друга за хвосты шакалов, это черт знает что. Оле, пастыри Израилевы!» (Ал. Чехову, 5 февраля 1898 г.).

И все же имени Чехова, правда, помимо его воли, все-таки пришлось прозвучать в печати в связи с делом Дрейфуса. Дело было так: знакомый Чехова по Лазурному берегу Михаил Ашкинази, он же Мишель Делин, подвергся вместе с издателем «Франко-русского вестника» в Ницце И.Розановым личным нападкам «Нового времени»: «Бердичевский выходец (И.Розанов) основал в Ницце «Франко-русский вестник». Главным сотрудником этой газетки сделался некто Ашкинази, подписывающийся псевдонимами «Русский» и «Michel Delines», незамедливший примкнуть к газетной кампании в пользу Дрейфуса», и т.д. Ашкинази написал открытое письмо в редакцию «Нового времени» А.Суворину, где, в частности, были такие слова: «Не мое отношение к делу Дрейфуса позорно, а Ваше. Сошлюсь на человека, которого вы любите, если Вы только можете кого любить и уважать. Сошлюсь на чуткого художника А.П.Чехова. Он был во Франции во время процесса Золя. Спросите его, что он думает о виновности Дрейфуса и о гнусных проделках защитников Эстергази. Спросите его, что он думает о Вашем отношении к этому делу и к еврейскому вопросу вообще. Не поздоровится ни Вам, ни «Новому времени» от его мнения».

Письмо это, естественно, «Новое время» не опубликовало, но оно через некоторое время появилось в «Одесском листке» (видимо с этого времени Чехов стал бояться «одесских корреспондентов») и затем, 26 февраля, было перепечатано московской газетой «Курьер», редактировавшейся соучеником Чехова по таганрогской гимназии и мужем Дуни Эфрос Ефимом Коновицером. Коновицер, которого связывали с Чеховым многолетние дружеские отношения, думал, надо полагать, что

этот «сюрприз» будет ему приятен, но вышло иначе. Чехов писал Марии:

«Курьер» недавно подложил мне большую свинью. Он напечатал письмо шарлатана Мишеля Делина, подлое письмо, в котором Делин старается доказать, какой негодяй и мерзавец Суворин, и в доказательство приводит мое мнение. Это уж черт знает что, бестактность небывалая. Нужно знать Делина: что это за надутое ничтожество! Это еврей Ашкинази, пишущий под псевдонимом — Michel Deline» (М. Чеховой, 2 марта 1899 г.).

Через несколько дней о том же Чехов пишет Суворину:

«А читали Вы письмо Michel`a Deline`а? Я с ним виделся несколько раз в Ницце, он бывал у меня. Это Дерулед — иудейского вероисповедания» (А. Суворину, 4 марта 1898 г.).

Поль Дерулед — политический деятель и поэт, злобный антидрейфусар.

Заметим, что Чехов упрекает Ашкинази не во лжи, а в бестактности. Такт в отношениях Чехова с людьми значил для него очень много, и допустивший бестактность Ашкинази, с которым у него, судя по письмам и запискам французского периода его жизни, поддерживались весьма интенсивные контакты, немедленно превращается в «надутое ничтожество», а былое общение — в «несколько» посещений.

В марте 1899 г. над Сувориным стали собираться тучи: за «своеобразное» освещение конфликта русского правительства с Петербургским университетом, начавшегося запрещением студенческого праздника 8 февраля и закончившегося «приемом после увольнения» всех студентов, а также вызвавшего стачки солидарности с ними по всей столице, против Суворина было возбуждено дело в писательском Суде чести, и «старец» очень переживал. «Этот месяц, прожитый мною, равняется годам. Никогда я так не волновался. Мне казалось, что все против меня, и что я гибну», — записывает он в дневнике 26 марта 1899 г.

Чехов сочувствовал его переживаниям и в связи с возникшей ситуацией написал ему последнее в своей жизни обстоятельное письмо, отражающее всю глубину понимания им особенностей русской общественно-политической жизни:

«Ваше последнее письмо с оттиском (суд чести) мне вчера прислали из Лопасни. Решительно не понимаю, кому и для чего понадобился этот суд чести и какая была надобность Вам соглашаться идти на суд, которого Вы не признаете, как неоднократно заявляли об этом печатно. Суд чести у литера-

торов, раз они не составляют такой обособленной корпорации, как, например, офицеры, присяжные поверенные, — это бессмыслица, нелепость; в азиатской стране, где нет свободы печати и свободы совести, где правительство и 9/10 общества смотрят на журналиста, как на врага, где живет так тесно и так скверно и мало надежды на лучшие времена, такие забавы, как обливание помоями друг друга, суд чести и т.п., ставят пишущих в смешное и жалкое положение зверьков, которые, попав в клетку, откусывают друг другу хвосты. Даже если стать на точку зрения «Союза», допускающего суд, то чего хочет он, этот «Союз»? Чего? Судить Вас за то, что Вы печатно, совершенно гласно высказали свое мнение (какое бы оно ни было), — это рискованное дело, это покушение на свободу слова, это шаг к тому, чтобы сделать положение журналиста несносным, так как после суда над Вами уже ни один журналист не мог бы быть уверен, что он рано или поздно не попадет под этот странный суд. Дело не в студенческих беспорядках и не в Ваших письмах. Ваши письма могут быть предлогом к острой полемике, враждебным демонстрациям против Вас, ругательным письмам, но никак не к суду. Обвинительные пункты как бы умышленно скрывают главную причину скандала, они умышленно взваливают все на беспорядки и на Ваши письма, чтобы не говорить о главном. И зачем это, решительно не понимаю, теряюсь в догадках. Отчего, раз пришла нужда или охота воевать с Вами не на жизнь, а на смерть, отчего не валять начистоту? Общество (не интеллигенция только, а вообще русское общество) в последние годы было враждебно настроено к «Нов<ому> времени». Составилось убеждение, что «Новое время» получает субсидию от правительства и от французского генерального штаба. И «Нов<ое> время» делало все возможное, чтобы поддержать эту незаслуженную репутацию, и трудно было понять, для чего оно это делало, во имя какого бога. Например, никто не понимает в последнее время преувеличенного отношения к Финляндии, не понимает доноса на газеты, которые были запрещены и стали-де выходить под другими названиями, — это, быть может, и оправдывается целями «национальной политики», но это нелитературно; никто не понимает, зачем это «Новое время» приписало Дешанелю и ген<ералу> Бильдерлингу слова, каких они вовсе не говорили. И т.д. И т.д. О Вас составилось такое мнение, будто Вы человек сильный у правительства, жестокий, неумолимый — и опять-таки «Новое время» делало все, чтобы возможно дольше держалось в обществе

такое предубеждение. Публика ставила «Новое время» рядом с другими несимпатичными ей правительственными органами, она роптала, негодовала, предубеждение росло, составлялись легенды — и снежный ком вырос в целую лавину, которая покатилась и будет катиться, все увеличиваясь. И вот в обвинительных пунктах ни слова не говорится об этой лавине, хотя за нее-то именно и хотят судить Вас, и меня неприятно волнует такая неискренность» (А.Суворину, 24 апреля 1899 г.).

Это письмо показывает, почему Чехов не считал для себя возможным публично осудить Суворина. Однако появление в те же дни в журнале «Жизнь» «Открытого письма к А.С.Суворину» М.Горького, в составе которого в очередной раз было опубликовано злосчастное письмо Ашкинази со ссылкой на Чехова, на сей раз его протеста не вызвало, даже несмотря на совершенно безжалостную концовку горьковского послания:

«Не чувствуете ли Вы, старый журналист, что пришла для Вас пора возмездия за все, что Вы и Ваши бойкие молодцы напечатали на страницах «Нового времени»?»

Видимо, чтобы как-то смягчить Горького, Чехов писал ему: «Из Петербурга получаю тяжелые, вроде как бы покаянные письма...» (М.Горькому, 25 апреля 1899 г.).

Горький отвечал ему на это:

«Мне думается, я понимаю то, что Вы переживаете, читая письма из Петербурга. Мне, знаете, все больше жаль старика — он, кажется, совершенно растерялся. А ведь у него есть возможность загладить — нет, — даже искупить все свои вольные и невольные ошибки. Это можно бы сделать с его талантом и умением писать — стоит только быть искренним, широко искренним, по-русски, во всю силу души! <...> Оставьте его самому себе — Вам беречь себя надо. Это все-таки — гнилое дерево, чем можете Вы помочь ему? Только добрым словом можно помочь таким людям, как он, но если ради доброго слова приходится насиловать себя — лучше молчать» (М.Горький — А.Чехову, май 1899 г.).

Наиболее полно описал Суд чести и его результаты в своем дневнике В. Короленко:

«Суд чести Союза писателей постановил приговор по делу Суворина. Осудив «приемы» его, признав, что он действовал без достаточного сознания нравственной ответственности, которая лежала на нем ввиду обстоятельств вопроса, что он взвалил всю вину на студентов, тогда как сам должен признать, что в деле есть и другие виновники, — Суд чести, однако,

не считал возможным квалифицировать его поступок, как явно бесчестный, который мог бы быть поставлен наряду с такими поступками как шантаж и плагиат, — упоминаемые в ст. 30 Устава Союза. Определения писал я. Приговор единогласный (Фаминицын, Арсеньев, Мумкетов, Манассеин, Анненский, Спасович, Короленко). Суворин... очень волновался и накануне прислал письмо на имя Арсеньева, в котором просил ускорить сообщение приговора, так как ему чрезвычайно тяжело ожидание.

Приговор был готов и послан ему в тот же день. Многие ждали, что Суд чести осудит Суворина. «Если не за это одно, то за все вообще». Мы строго держались в пределах только данного обвинения, и по совести я считаю приговор справедливым. В данном случае у Суворина не было бесчестных побуждений: он полагал, что исполняет задачу ментора. Но у него давно уже нравственная и циническая глухота и слепота, давно его перо грязно, слог распущен, мысль изъедена неискренней эквилибристикой... Амфитеатров, объявляя о новом курсе своем, написал: «Много значит, в каком органе пишешь». Он хотел этим извинить свою недавнюю «манеру», явно осужденную общественным мнением по адресу Суворина... Чехов рассказывал мне, что Суворин иногда рвал на себе волосы, читая собственную газету. Все эти приемы в «Маленьких письмах» мы отметили и осудили».

Это решение суда не изменило ни позиции «Нового времени», ни характера и «приемов» самого Суворина.

«С Питером я не переписываюсь, к Марксу не обращаюсь, с Сувориным давно уже прекратил переписку (дело Дрейфуса)», — пишет Чехов сестре 3 декабря 1899 г.

Чехов, как это часто с ним бывает, не вполне точен: он не «прекратил» переписку с Сувориным, а лишь достаточно резко сократил ее. Впрочем, может быть, он и прав: с 1899 г. в письмах к Суворину больше не было его души, а письма, написанные без участия души, вроде бы не существуют, хотя формально они есть. Дело Дрейфуса также закончилось в 1899 г., и остальные его перипетии Чехова не волновали: на этот раз он был безусловно уверен в конечной победе Добра и Справедливости. Но только на этот раз!

Сам он лишь однажды вспомнит о «деле» Дрейфуса, когда к нему придет весть о странной смерти Золя: «Сегодня мне грустно, умер Золя. Это так неожиданно и как будто нехвата. Как писателя я мало любил его, но зато как человека в последние годы, когда шумело дело Дрейфуса, я оценил его высоко» (О.Книппер, 18 сентября 1902 г.).

ЯСНОСТЬ, ИЛИ ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

В одной, уже упоминавшейся книге о Чехове я встретил такую фразу, комментирующую его письмо к брату Александру от 19–20 февраля 1887 г.:

«Скоро он отойдет от «Нового времени», потом осудит Суворина за его антидрейфусарскую позицию и, наконец, порвет с ним, но приватно еврейская тема останется в качестве неистощимого кладезя агрессии и юмористических утех, собачьих кличек и т.д.» (Е.Толстая. Поэтика раздражения. М., 1994).

Именно несправедливость, не говоря уже о неточности, этого утверждения заставила меня взяться за перо не для того, чтобы защитить Чехова. Он — Гений и не нуждается ни в защите, ни в оправданиях. Я хочу защитить себя и тех, кто, как я, смотрит на море житейское и на мироздание взглядом Чехова.

Как мы уже видели, «отойдя» от «Нового времени» и «осудив» Суворина за антидрейфусарскую позицию, он не «порвал с ним» и их взаимоотношения продолжались до самой смерти Чехова. Если и можно согласиться с упоминанием «собачьих кличек» (вероятно, имеются в виду любимые таксы Чехова Хина Марковна и Бром Исакович, так как другие собачьи клички, встречающиеся в его переписке и мемуарах о нем, никакого отношения к еврейской ономастике не имеют), то признать еврейскую тему «неистощимым кладезем агрессии и юмористических утех» Чехова совершенно невозможно.

Первые шаги к «осуждению» позиции Суворина никакого отношения к делу Дрейфуса не имели и относятся к началу 1893 г., когда в «Новом времени» появилась статья «г. Антокольский», подписанная Жителем (А.Дьяковым). В письме, посвященном нравам русской журналистики, Чехов

писал: «... за что Житель обругал Антокольского? Ведь это же не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба» (А.Суворину, 24 февраля 1893 г.).

На эту же статью откликнулся Илья Репин, писавший Суворину: «Как Вы могли допустить в Вашей газете такой бред сумасшедшего, как статья Жителя против Антокольского? Антокольский — уже давно установившаяся репутация, европейское, всесветное имя, один из самых лучших, даже, отбросив скромность, лучший теперь скульптор. Боже, сохрани меня от невежества защищать непогрешимость репутаций... Но если пьяный из кабака начнет ругаться лично, бестолково, неприлично, разве Вы станете его слушать?»

Однако, несмотря на письма Чехова и Репина, уже 5 марта 1893 г. в «Новом времени» появилась статья Буренина «Антокольский и его пророки», написанная в том же духе и с теми же грязными инсинуациями. Испытывая, как он не раз говорил, чувство благодарности к Суворину, Чехов еще не мог поверить, что в «Новом времени» все делается по воле хозяина газеты, и пытался сам себя убедить, что Суворин не владеет обстановкой, но в том, что повлиять на газету через Суворина практически невозможно, он начал убеждаться уже после этого случая. Несмотря на это, Чехов сделает еще несколько попыток убедить «старца» переменить курс. Уж очень ему этого хотелось.

А тогда, вскоре после очередных публичных антисемитских издевательств «Нового времени» над великим скульптором-евреем, Чехов активно включается в кампанию по установке в Таганроге созданной им статуи Петра I, основавшего этот город. В хлопотах по этому делу он знакомится лично с Марком Антокольским, посещает его в Париже, ведет переговоры с братьями Дрейфуса (которые владели во Франции экспортно-импортным торговым домом, имевшим отделение в Таганроге) о перевозке скульптуры и занимается этим памятником вплоть до его открытия. Это был своего рода ответ Чехова на «животную, ненасытную злобу» нововременских антисемитов. И ответ этот не был единственным.

Окружение Чехова после 1894 года (после «Скрипки Ротшильда») еще более наполнено крещеными и некрещеными евреями, чем в восьмидесятые годы. Уходили и появлялись друзья юности. Умер в Харькове близкий товарищ гимназических лет Исаак Срулев, уехал в Западный край, в Гродно Соломон Крамарев — он подаст о себе весть лишь в 1904 г.,

в год смерти Чехова. И вдруг в 1893-г. объявился одноклассник Иосиф Островский, работавший врачом в Грузии. В ответном письме Чехов сообщает ему все, что знает об одноклассниках и просит передать поклон Зельману (Захару) Рахману, которого «очень хорошо помнит». Встретился Чехов и с Исааком Шамковичем, также своим соучеником. Шамкович стал известным врачом и однажды осматривал Чехова.

Вблизи Чехова остается Исаак Левитан. История их дружбы до смертного часа, выдержавшей даже испытание «Попрыгуньей», описана неоднократно, а рассказ об их примирении мне «в лицах» изобразила помирившая их Татьяна Щепкина-Куперник, милая Танечка. Рядом, возле сестры Марии пребывает и «Реве-Хаве» — Дуня Эфрос, первая невеста. Она выходит замуж за соученика Чехова по таганрогской гимназии адвоката Ефима Коновицера, не раз упомянутого на этих страницах, и они оба с детьми Николаем и Ольгой остаются, как уже говорилось, вблизи Чеховых до и после смерти Антона. Более того, Чехова и Ефима Коновицера, с 1897 г. вместе с Яковом Фейгиным издававшего в Москве газету «Курьер», связывали постоянные доверительные отношения, не нарушенные даже уже упомянутой публикацией письма Мишеля Делина (Ашкинази). Сам Чехов в «Курьере» не печатался — ко времени выхода этой газеты он уже рассказов, пригодных по своему объему к газетной публикации, не писал. Но он рекомендует эту газету брату Александру, и, когда у И. Павловского, также бывшего таганрожца, осложнились отношения с «Новым временем», он занимается его трудоустройством в «Курьере». Об этом он пишет Павловскому:

«Вот, что я скажу Вам насчет «Курьера». В этой газете я не заинтересован материально и не сотрудничаю в ней, — не сотрудничаю, потому что не хочу огорчать «Русские ведомости», которые видят в «Курьере» конкурента и которые переживают теперь тяжелое испытание. Но я могу поручиться, что «Курьер» совершенно порядочная, чистая газета; ее ведут и работают в ней, хотя и не особенно талантливые, иногда даже наивные (с газетно-издательской точки зрения), но вполне порядочные, умные и доброжелательные люди. О будущем газеты нельзя сказать ничего определенного, так как она может быть прихлопнута, как и всякая другая газета. Настоящее же недурно, подписчиков уже много, и пайщики взирают на будущее бодро, с упованием. О том, что было бы недурно пригласить Вас, говорил мне один из самых видных членов редакции, некий Коновицер, тот самый, которого Вы

видели в Васькине (большой пруд), когда ехали ко мне в Мелихово. Он учился в таганрогск<ой> гимназии. Я думаю, что Ваше сотрудничество для «Курьера» было бы просто находкой. Вам же прежде, чем решаться, надо подумать, т.е. познакомиться и с газетой и с ее хозяевами, и столкнуться с ними лично. Я напишу завтра Коновицеру (конечно, конфиденциально), он поговорит со своей редакцией, ответит мне; его ответ я пришлю Вам — и тогда приезжайте в Москву. Я напишу ему также, что до окончательного решения Вы желали бы писать корреспонденции под псевдонимом» (21 января 1909 г.).

Еще раз отметим, что речь в письме идет о двух евреях — одном достаточно близко знакомом и одном незнакомом, — издающих русскую газету. Такой вот «кладезь агрессии»!

Вероятно, будет уместно здесь же привести конфиденциальное письмо Коновицеру, обещанное Чеховым Павловскому:

«Дорогой Ефим Зиновьевич, пишу Вам конфиденциально, или, как говорят министры, «совершенно доверительно». Как-то года 1 1/2 — 2 назад Вы говорили мне, что «Курьер» был бы не прочь привлечь к сотрудничеству И.Я.Павловского (Яковлева). Теперь Павловский, насколько я могу понять, совсем разладил с «Новым временем» или близок к этому. Мне кажется, можно вступить с ним в переговоры. Это хороший старый корреспондент, связи у него в Париже солидные — и для «Курьера» он был бы довольно ценным приобретением. Вот его адрес: Monsieur I. Pavlovsky, 7 rue Gounod, Paris. Если нужно, то для переговоров он приедет в Москву.

Как Вы поживаете? Что у Вас нового? Тут в Ялте ничего нового, все старо и все скучно, особенно в дурную погоду. Вам, конечно, завидую. Поклонитесь Евдокии Исааковне и детям. Где Вы летом на даче? Не в Васькине? Я буду жить в Мелихове все лето.

Крепко жму руку и желаю всего хорошего. Ваш А.Чехов.

Напишите, что делается с сытинским «Русским словом» (14 февраля 1899 г.).

Это письмо говорит само за себя, и остается добавить, что у Чехова были также личные отношения и с братом Дуни Эфрос Дмитрием, к судьбе которого он был безразличен.

В 1895 г. начинается переписка Чехова с таганрогским литератором Абрамом Тараховским. Чехов видел в Тараховском талантливого журналиста («Мне высылают «Приазовский край», и я читаю там все, что Вы пишете, читаю с большим удовольствием») и пытался приобщить его к работе в столичных газетах, начиная с того же «Курьера».

Свои связи с земляками Чехов никогда не разделял по национальному признаку, и его общение с городским активистом Павлом Иордановым было столь же искренним, как и с Давидом Гордоном — устройтеlem таганрогской водолазничной.

Отношение Чехова к евреям, работавшим в области искусства, также было лишено какой бы то ни было предвзятости. Он вел уважительные переговоры с художником Иосифом Бразом о своем портрете. Чтобы проиллюстрировать высочайшую степень благожелательности Чехова в отношении этого человека, приведем лишь одно письмо:

«Многоуважаемый Иосиф Эммануилович, я каждое лето бываю в Петербурге, и мне не трудно поехать туда, но дело в том, что я, по обстоятельствам, от меня не зависящим, ничего не могу обещать Вам. Ведь может случиться, что когда я приеду в Петербург, начнется холодная сырая погода, у меня пойдет кровь — и Вы должны будете прервать работу, так как медицина погонит меня вон из Петербурга.

Врачи говорят, что и в Париже, в начале нашего апреля, бывает холодная, сырая погода и что я таким образом могу подвести Вас и в Париже. Уж не знаю, как и быть. Боюсь показаться Вам очень большим эгоистом, но, право, мне ничего больше не остается, как вообразить, что Вы Ева, а я змий, и начать Вас искушать и соблазнять прелестями французского юга. Право, здесь так хорошо! Во-первых, тепло, очень тепло; масса солнца, море, чудесные окрестности, Монте-Карло. Во-вторых, здесь можно найти хорошее помещение для работы; местные художники окажут Вам в этом отношении всяческое содействие. В-третьих, здесь Вы можете написать еще кого-нибудь, кроме меня; тут много красивых женских лиц, очень красивых, тут живет известный Максим Ковалевский, лицо которого так и просится на полотно. В-четвертых, здесь по соседству, в Menton, живет М-ше Мартынова, которую Вы писали... Ну, чем еще соблазнить Вас? Жизнь здесь дешевая, удобная... Одним словом, приезжайте сюда, в Ниццу, этак в начале марта (ст. стиля), буде позволят обстоятельства; мы попишемся и затем поедем в Корсику, оттуда назад в Ниццу, потом в Париж и наконец в Россию. Человек Вы молодой, жизнь из Вас бьет ключом, и надо пользоваться ею, спешить пользоваться; пройдут 10–15 лет, и Вы станете таким же хрычком и такой же ходячей клиникой, как Ваш покорнейший слуга (чего я, впрочем, Вам искренно не желаю).

Оба мы, Вы и я, уступчивые люди, характер у нас мирный, и, думаю, мы споемся в конце концов и, стало быть, скоро увидимся. Буду очень рад видеть Вас» (8 (20) февраля 1898 г.).

Таким образом, ученика Репина, еврея Иосифа Браза, тоже несколько трудновато отнести к «неистощимым кладезям» чеховской агрессии.

Сам Чехов, как совершенно справедливо отметили внимательные литературоведы, после «Скрипки Ротшильда» (1894 г.) к еврейской теме в своем творчестве не обращался. Но это не означает, что он полностью потерял к ней интерес, и в этом смысле весьма характерна история с пьесой Евгения Чирикова «Евреи».

Узнал он о существовании этой пьесы от Горького, которому и написал:

«Если увидите Чирикова, то передайте ему мою просьбу — пусть вышлет мне своего «Еврея» (6 октября 1903 г.).

Но уже на следующий день он пишет Чирикову сам, что свидетельствует о некотором нетерпении:

«Итак, позвольте мне ждать «Еврея». <...> Если «Еврея» нужно будет возвратить по прочтении, я тот час же возвращу, не задержу ни на один день» (7 октября 1903 г.).

Вскоре пьеса поступила к Чехову, и он тут же пишет Ольге Книппер:

«Очень хвалили пьесу Чирикова «Евреи», но пьеса оказалась посредственной, даже плохой. Горький страшно раздул ее, даже затеял перевод на иностранные языки» (24 октября 1903 г.).

Однако уже на следующий день у Чехова появляется иное мнение:

«Я обругал в письме к тебе пьесу Чирикова, и, как оказывается, поторопился; это Алексин виноват, он очень бранил пьесу в телефон. Вчера вечером я прочитал «Евреи»; особенного ничего нет, но написано не так уж плохо, можно три с плюсом поставить» (25 октября 1903 г.).

В начале ноября 1903 г. Чехов возвращается к пьесе «Евреи» вот по какому поводу:

«Вчера я получил письмо от некой госпожи Янины Берсон, которая пишет, что студентам в Женеве «жрать нечего, работать негде, не зная языка — с голоду подохнешь». Это знакомая Горького. Просит она экземпляр «Вишневого сада», чтобы поставить его в Женеве с благотворительной целью. Будут-де играть студенты. Так как она говорит, что выдается с тобой в театре, то, пожалуйста, передай ей, что «Вишневый

сад» раньше постановки в Художественном театре я не могу дать... что пьесу она получит в декабре или январе, а пока студенты в Женеве пусть поставят... например, «Еврея» Чирикова, пьесу очень подходящую и очень порядочную во всех смыслах» (О.Книппер, 8 ноября 1903 г.).

Заканчивается «чеховская» часть истории пьесы Чирикова письмом Книппер:

«Янину Берсон я знаю. Это protegee Горького, еврейка, которую он скрывал у себя, когда она бежала с женихом, который отравился потом... Передам Янине, что ты велел» (О.Книппер — Чехову, 12 ноября 1903 г.).

Нам неизвестно, передала ли женевским студентам сбежавшая из дому дочь петербургского банкира Осипа Берсона Янина пьесу Чирикова «Еврей». Известно лишь то, что пьесу уже после смерти Чехова поставил Вс. Мейерхольд в театре Товарищества новой драмы и что она была запрещена на третьем представлении после премьеры, состоявшейся в Тифлисе 24 февраля 1906 г.

Вспомним здесь и уже не раз появлявшуюся в этих записках Татьяну Щепкину-Куперник, куму и неизменную, с момента их знакомства, симпатию Чехова. Он был знаком с ее отцом, известным адвокатом и не менее известным плейбоем 80-х гг. Львом Куперником, притчей во языцех всех антисемитов — не только нововременцев («Московских всех Плевак соперник — известный адвокат Куперник», — так начинал свои «баллады» о нем Буренин), но и самого Достоевского, и этот «факт биографии», скорее всего, был одной из причин демонстративного внимания Чехова к дочери знаменитого еврея: адресуя ей свои письма, он на конвертах опускал первую фамилию, отражавшую ее принадлежность к роду великого Щепкина, и оставлял лишь фамилию ее отца.

Не будем здесь рассматривать подробно широко известную переписку Шолом-Алейхема с Чеховым по поводу его участия в сборнике «Хилф» («Помощь»), изданном в пользу евреев, пострадавших в Кишиневском погроме в 1903 г. Отметим лишь, что первое письмо Шолом-Алейхема Чехову (от 18 июня 1903 г.), находящееся в отделе рукописей бывшей Государственной библиотеки им. Ленина (Москва), почему-то не публиковалось. Вероятно, идеологи советского режима еще в середине 70-х, когда выходил шеститомник Шолом-Алейхема, вынашивали обнародованную в конце 80-х гг. XX века «мысль» об истолковании организованных русскими охранительными структурами еврейских погромов как проявление

«классовой борьбы трудящихся масс» против еврейских «угнетателей». Как известно, Чехов не мог дать ничего нового в этот сборник, так как был тогда занят исключительно «Вишневым садом», но разрешил перевод и публикацию любого из ранее написанных рассказов, что и было сделано: в сборнике «Хилф» был опубликован в переводе на идиш рассказ Чехова «Тяжелые люди».

Десятки евреев, обращавшихся к Чехову, будь это начинающий писатель или просто проситель, неизменно получали от него ответ, совет или посильную помощь.

Так, например, уже упоминавшийся одессит Михаил Полиновский, пославший Чехову свой текст под названием «Еврейские типы. I. Ицек. II. «Элюким-тамес», получил от Чехова весьма подробный разбор своей работы:

«Ваши рассказы хороши, особенно первый, и их можно было бы напечатать где угодно, если бы не язык, над которым Вам, очевидно, придется еще много поработать...

И зачем писать об евреях так, что это выходит из «еврейского быта», а не просто «из жизни»?

Читали ли Вы рассказ «В глухом местечке» Наумова (Когана)? Там тоже об евреях, но вы чувствуете, что это не «из еврейского быта», а из жизни вообще...

Чтобы выработать себе язык, надо побольше писать и почаще печататься. Где печататься? Это уже Ваше дело. Вы сами должны пробить себе дорогу; положение в литературе, хотя бы очень скромное, не дается, не берется, а завоевывается...» (М.Полиновскому, 8–10 февраля 1900 г.).

Отметим один весьма интересный штрих: вряд ли известный народнический писатель «Николай Иванович Наумов» представлялся читателям как Коган, и это означает, что Чехов, почувствовав в очерке «В глухом местечке» высокую жизненную правду, специально навел для себя справки о его авторе.

«Случай» с Полиновским скептический читатель может отнести на счет того особого отношения Чехова к литературе, к писательству, заставлявшего его бесценное время своей недолгой жизни бескорыстно тратить на прочтение и редактирование чужих, нередко весьма посредственных сочинений. Поэтому здесь будет в качестве примера рассмотрен еще один типичный для Чехова случай, когда к нему приходили люди со своими житейскими проблемами, и он, уже тяжело больной человек, за считанные месяцы до своей кончины находил время и силы заниматься их делами.

Так, однажды явился к нему ялтинский житель, врач Израиль Бухштаб (по визитной карточке Михаил) с просьбой помочь его сыну Абраму. И Чехов в первом же письме поручает Книппер:

«...узнай, не может ли полковник Стахович дать письмо (свое или от кого-нибудь) министру народного просвещения Зенгеру о том, чтобы приняли одного еврея в ялтинскую гимназию. Этот еврей держит экзамены уже 4 года, получает одни пятерки, и все-таки его не принимают, хотя он сын ялтинского домовладельца. Жидков же из других городов принимают. Узнай, дуся, и напиши мне поскрее» (О.Книппер, 29 августа 1902 г.).

Книппер, также не откладывая, занимается этим поручением:

«Стаховичу говорила о еврейчике ...» (О.Книппер -- Чехову, 6 сентября 1902 г.).

Из ответа Книппер ясно, что хлопоты рискуют затянуться, но тем временем вопрос решается, и Чехов пишет ей:

«...насчет еврейчика не хлопочи, он уже учится в гимназии» (О.Книппер, 10 сентября 1902 г.).

На сей раз все уладилось само собой, и «еврейчик» Абрам Бухштаб навсегда исчезает из его мира, но поражает готовность Чехова устранить несправедливость, добравшись до самых высот имперской бюрократической иерархии.

Конечно, сторонники мнения о существовании для позднего Чехова в еврейской теме «кладеза агрессии» могут откопать, например, такую фразу из его письма Меньшикову:

«О Толстом пишут, как старухи об юродивом, всякий елейнейший вздор; напрасно он разговаривает с этими шмулями».

В известной студенческой песне 50-х гг. XX века «В имени Ясной Поляне жил Лев Николаич Толстой...» были и такие слова: «В имени Ясной Поляне любил принимать он гостей: к нему приходили славяне и негры различных мастей». Но кроме «славян и негров различных мастей» наблюдалось также обильное паломничество евреев, привлеченных известным филосемитизмом Толстого. Почти каждый из них считал своим долгом немедленно опубликовать в какой-нибудь газете свои заметки о великом мыслителе и писателе. Можно ли судить Чехова за то, что ему не нравился этот неиссякаемый поток елея? Тем более что главной причиной его резкости в письме к Меньшикову было все-таки не обилие «шмулей», а то, что Толстой, по его, Чехова, мнению, лишил свое гениальное, потрясшее Чехова, «Воскресение»

достойного финала, заменив этот финал обширным текстом из Евангелия от Матфея о заблудшей овце и о прощении, и после своих восторгов Чехов констатировал:

«Конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом. Писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия, — это очень уж по-богословски ... Почему текст из Евангелия, а не из Корана? Надо сначала заставить уверовать в Евангелие, в то, что именно оно истина, а потом уж решать все текстами» (М.Меньшикову, 23 января 1900 г.).

А ведь действительно: почему «Воскресение» завершается текстом из Евангелия, а не из Корана?

Чехов великолепно, почти наизусть, знал Евангелие, как и Ветхий Завет, и явная и тайная печать этого знания лежит на всем его творчестве. Когда Горький обратил его внимание на книгу «Евангелие как основа жизни» известного православного священника и проповедника Григория Петрова, впоследствии члена Государственной Думы, резко выступившего в прессе против еврейских погромов, в организации которых он обвинил «неронов» и «неронишек» в царской администрации, Чехов долго находился под ее впечатлением:

«Читали ли Вы «Евангелие как основа жизни» священника Петрова? После этой книги я не читал ничего интересного, кроме, впрочем, «Одиноких людей» Гауптмана» (А.Суворину, 10 августа 1899 г.).

Поэтому его недовольство наверняка было вызвано не фактом обильного цитирования Евангелия, а неуместностью этого текста в «Воскресении», нарушившего те одному ему, Чехову, открытые «законы равновесия», без соблюдения которых невозможно творческое совершенство. А заодно досталось и «шмулям».

Другим примером чеховской «нетерпимости» для слишком требовательных русско-еврейских литературоведов могло бы служить третирование им в переписке с Книппер театральных критиков Александра Кугеля и Николая Эфроса:

«Очевидно, Немирович пал или падает духом, его заедают рецензии. А ты, дурочка, не верь этим пошлым, глупым, сытым рецензиям нелепых людей. Они пишут не то, что прочувствовано ими, или велит им совесть, а то, что наиболее подходит к их настроению. Там, в Петербурге, рецензиями занимаются одни только сытые еврей-неврастеники, ни одного нет настоящего, чистого человека» (О.Книппер, 16 марта 1902 г.).

«Сытые евреи» — это Кугель и, возможно, Николай Эфрос, заклевавшие пьесу Вл. Немировича-Данченко «В мечтах». Потом он придумает для Книппер чисто женское объяснение нехорошего поведения «сытых евреев-неврастеников»:

«Вообще я газетчикам не верю и верить не советую. Эфрос хороший малый, но он женат на Селивановой, ненавидит Алексеева, ненавидит весь Художественный театр, — чего он не скрывает от меня; Кугель, пишущий о театре в десяти газетах, ненавидит Художественный театр, потому что живет с Холмской, которую считает величайшей актрисой» (О.Книппер, 1 марта 1903 г.).

Так что в общем «евреи-неврастеники» сами по себе оказываются «хорошими малыши», и только русские бабы сбивают их с пути истинного...

Объяснить такие вспышки острого недовольства, проявляющиеся наедине с собой или в эпистолярных диалогах, влиянием болезней или безденежья и многолетнего балансирования на грани нужды, как это делает, например, автор «Поэтики раздражения», невозможно, так как эти и многие другие «раздражающие» факторы в жизни Чехова носили хронический характер, а темные волны какой бы то ни было нетерпимости в чистом и светлом море чеховского бытия возникали спонтанно и лишь на мгновения, как в настроениях ребенка, и это сравнение не случайно, потому что Гений — явление внечеловеческое, вселенское. Душа Гения, гениальность, обретает свою земную оболочку в детском сердце и все время своего земного существования живет памятью детства. Поэтому в характере Гения, будь это Ньютон или Эйнштейн, Толстой или Моцарт, до конца их дней звенело светлое человеческое детство. Догадываясь об этом, «взрослые», «нормальные» люди окрестили их ребяческие выходы причудами Гения. Вспомним, сколько в последних годах Пушкина было такого непонятого простым смертным ребячества, стоившего ему жизни; взгляды пристальнее в дневник Шевченко, и откроется нам его светлый детский взгляд, незамутненный пережитыми страданиями и потерями.

И в Чехове постоянно выглядывает притаившийся в его душе ребенок. Как он ни силится упрятать его поглубже, он, этот ребенок, в своих «дразнилках» в минуту гнева может помянуть «добрым словом» все то, что как-то выделяет объект его недовольства среди прочих: «этот немец» (А.Маркс), «сытый еврей» (А.Кугель, причем слово «сытый» он само по себе считал весьма обидным), «городовой» (В.Розанов, организовыв-

вающий с непонятной Чехову целью, как городской, — с «разрешения» властей «религиозно-философские собрания», откуда его, Розанова, потом с треском выгонят за людоедскую позицию в «деле» Бейлиса), и т.д., и т.п. Кстати, история с Розановым для Чехова очень характерна: в декабре 1901 г. он спрашивает у В.Миролюбова:

«Что у Вас, у хорошего, прямого человека, что у Вас общего с Розановым...» (17 декабря 1901 г.).

А год спустя тому же Миролюбову пишет следующее:

«В «Новом времени» от 24 декабря прочтите фельетон Розанова о Некрасове. Давно, давно уже не читал ничего подобного, ничего такого талантливого, широкого и благодушного, и умного» (30 декабря 1902 г.).

Каждому деянию — свое слово, и в этом предельная беспристрастность Чехова. Вообще же психологический анализ богатейшей внутренней жизни Чехова, навеки сохраненной в его письмах, вещь бесконечно увлекательная, но, во-первых, он требует той высочайшей степени понимания, для которой одной любви к нему недостаточно — нужна еще и конгениальность, а во-вторых, такой анализ лежит за пределами нашего повествования, которое завершим обязательным упоминанием о «милом Исааке Наумовиче» — о докторе Альтшуллере, друге и враче Чехова в последние шесть лет его жизни, и рассказом о еще одном эпизоде чеховско-еврейских отношений.

Летом 1903 г. Чехов получил для прочтения две книги петербургского издательства «Знание», опекаемого Горьким, — «Рассказы» С. Гусева-Оренбургского и первый том сочинений С. Юшкевича, включавший рассказы «Распад», «Невинные», «Портной», «Убийца», «Кабатчик», «Гейман» и «Ита Гейне». Вот что писал он по этому поводу:

«Я читал на днях книжки Юшкевича и Гусева-Оренбургского. По-моему, Юшкевич и умен и талантлив, из него может выйти большой толк, только местами и очень часто он производит впечатление точно перевод с иностранного; таких писателей, как он, у нас еще не было. Гусев будет пожиже, но тоже талантлив, хотя и наскучает скоро своим пьяным дьяконом. У него почти в каждом рассказе по пьяному дьякону» (В. Смидовичу (Вересаеву), 5 июня 1903 г.).

Кто после этого может упрекать Чехова в национальных пристрастиях? Он смело отводит в своем отзыве первое место еврею Семену Юшкевичу, действительно необычайно талантливому писателю, в большей степени веря в правду незнако-

мых ему еврейских типов из его рассказов, чем хорошо знакомому в русской литературе типу «пьяного дьякона», и основой этой веры Чехова была его чуткость и открытость всему талантливому и чистому, кто бы ни был носителем этого таланта и этой чистоты.

Предельная беспристрастность Чехова особенно удивительна тем, что самому ему пришлось жить в атмосфере скрытой зависти. Простота его гениальных творений была обманчивой. Многим пишущим казалось (и кажется до сих пор!), что у них получается не хуже и даже лучше, чем у Чехова, но почему-то читатели оставались с Чеховым. Совсем недавно — в годы «перестройки» — на страницах журнала «Москва» (№ 2, 1988) один из выпускников «Высших литературных курсов» поведал миру, что он считает Чехова «скучным, однообразным нытиком», у которого «все его взлохмаченные умно рассуждающие доктора везде совершенно одинаковы», и что «рассказ» «Невеста» напишет нынешний средний писатель, а Гоша Семенов, Сережа Никитин — так еще и лучше», и что он, Чехов, бедного провинциального учителя *обкал*. Что это? «Синдром Моськи» или попытка избежать причитающегося всякого рода «Гошам» и «Сережам» забвения? Гигант и пигмеи, Моцарт и бесчисленные Сальери — вечная тема. Ну как понять, что «Каштанка» — гениальна?! Из числа окружавших Чехова собратьев по перу, пожалуй, только Суворин, Толстой и Бунин догадывались, что он — Гений. Самого Чехова это, впрочем, не беспокоило.

Было сказано: «Не бывает пророк без чести, разве только в своем родном городе и в собственном доме». В одном из еврейских евангелических текстов, не принятых христианами, это высказывание дополнено словами: «И врач не лечит среди своих». Все это имеет самое прямое отношение к Чехову. Его «Попрыгунья», имевшая в белой рукописи название «Великий человек», — это не только картинка из жизни художнической богемы. Как и многие другие вещи Чехова, этот рассказ имел и второй смысл: в «Попрыгунье» Ольге Ивановне сконцентрировано все современное Чехову общество, в котором не один только еврей Волынский, а целые толпы братьев-славян метались в поисках «великих» людей — философов, богоискателей, спиритов, литераторов, а рядом с ними находился единственный по-настоящему гениальный писатель и мыслитель Чехов (врач, как и Осип Дымов).

При этом, если несколько проницательных умов еще догадывались, что перед ними несравненный писатель, то

мыслителя в нем не видел никто. Чехов только посмеивался, радуясь тому, что ему удалось так глубоко упрятать свой дар пророка и мыслителя, и лишь однажды почувствовал себя «разоблаченным»: в начале 1903 г. он получил первый номер журнала «Мир Божий», где прочитал о себе такие строки:

«Он (Чехов) оригинальный цветок в русской литературе и не менее оригинальный и глубокий мыслитель, и многому у него можно поучиться. У него именно нужно учиться любить и понимать человека, любить и понимать жизнь в том глубоком значении слов, в каком они к нему применимы».

Чехов был тронут и попытался узнать хоть что-нибудь о личности автора этой статьи — Вениамина Альбова, но это ему не удалось. Другим человеком, почувствовавшим в Чехове великого мыслителя, был Сергей Булгаков, прочитавший в 1904 г. в Ялте и Петербурге лекцию «Чехов как мыслитель», дважды впоследствии издававшуюся. К сожалению, Булгаков к этой теме не вернулся, и лекция его по отношению к Чехову предельно доброжелательна, но неглубока, что, впрочем, он и сам отмечал в предисловии к ее второму изданию. Были еще публикации Л. Шестова и А. Глинки-Волжского, но и они не смогли убедить «массового» читателя в том, что не вызывало ни малейшего сомнения у Горького, писавшего по поводу повести «В овраге»: «У Чехова есть нечто большее, чем мирозерцание, — он овладел своим представлением о жизни... Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения». Добавим: как художник-мыслитель, Чехов всегда оставался свободным; он пристально всматривался в «овраг» жизни и при этом оставался духовно неуязвимым, проще говоря, «на высоте». С этой-то высоты были видны ему все и всяческие «овраги» — в пространстве и во времени, в душах людей.

Исследование философских взглядов Чехова — отдельная огромная тема, и упомянута она здесь лишь в качестве еще одного примера глубокого непонимания присутствия Гения, непонимания, присущего большинству его современников и сохраняющегося отчасти по сей день.

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Года два назад я познакомился с изданной в Москве книгой Елены Толстой под названием «Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов» (М.: Радикс, 1994). В основе этой книги, если говорить о ее сути, лежит всем известная марксистская формула, которую нам вдалбливали с детства: «бытие определяет сознание». В данном случае делается попытка выявить, каким образом некоторые источники раздражения в жизни Чехова в указанный выше период его бытия повлияли на его сознание — на поэтику его творчества. В числе таких возможных раздражителей автор упомянутого исследования рассматривает ранние болезни (кровотечения, кровохаркание, желудочные явления, геморрой и т.п.), постоянное безденежье и... евреев.

Меня, откровенно говоря, заинтересовал только последний «источник раздражения», и, читая книгу Елены Толстой, я старался следить в основном за ее «еврейской» линией. Прочитанное меня не удовлетворило, и, поскольку «лучшее», по мнению Елены Толстой изложение проблемы «Чехов и евреи» (Donald Rayfield, «Chekhov and the Jews», *Judaism Today*, 1973) оказалось для меня недоступным, я решил попытаться рассмотреть эту проблему самостоятельно в год стосорокалетия со дня рождения Чехова.

Книга Елены Толстой при этом была не только побудительным мотивом в моей работе, но и источником целого ряда сведений, которые мне оставалось лишь перестроить в соответствии с моим представлением о взаимоотношениях Чехова с еврейским племенем и его отдельными представителями, в связи с чем считаю своим долгом выразить ей свою признательность, хотя, естественно, взятые мною из ее книги факты не исчерпывают содержания этого обзора.

Основными же источниками моего повествования являются сочинения самого Антона Чехова, его переписка и моя искренняя любовь к этому гениальному писателю и человеку.

Будучи более полувека постоянным читателем Чехова, я никогда не замечал в структуре его произведений и в приемах его творчества — во всем том, что литературоведы именуют «поэтикой», — даже самого незначительного «раздражения», одну лишь тайную, глубоко упрятанную любовь и страдание к людям. Чехов — милостивый и милосердный! Оно и понятно: Екклесиаст равнодушен и взирает на жизнь человеческую отстраненно; он учит, а не раздражается; заставляет переживать, но глубоко скрывает собственные переживания. Ну а можно ли отнести еврейство и евреев к числу «раздражающих» факторов в его жизни, пусть рассудят те, кто прочитал эти заметки.

*Харьков,
апрель 2000 г.*

И П У Л О Ж Е Н И Е

Знаменитому Левицкому
отъ знаменитого
А. П. ЧЕХОВЪ

А
ВЪ СУМЕРКАХЪ

К
ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ
С
1887

—•••—
С. ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНИЕ А. С. СУВОРИНА
1887

«ЕВРЕЙСКИЕ РАССКАЗЫ»

ШИНА

1

В большой двор водочного завода «наследников М.Е. Ротштейн», грациозно покачиваясь на седле, въехал молодой человек в белоснежном офицерском кителе. Солнце беззаботно улыбалось на звездочках поручика, на белых стволах берез, на кучах битого стекла, разбросанных там и сям по двору. На всем лежала светлая здоровая красота летнего дня, и ничто не мешало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться с ясным голубым небом. Даже грязный, закопченный вид кирпичных сараев и душный запах сивушного масла не портили общего хорошего настроения. Поручик весело спрыгнул с седла, передал лошадь подбежавшему человеку и, поглаживая пальцем свои тонкие черные усики, вошел в парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но светлой и мягкой лестницы его встретила горничная с немолодым, несколько надменным лицом. Поручик молча подал ей карточку.

Идя в покои с карточкой, горничная могла прочесть: «Александр Григорьевич Сокольский». Через минуту она вернулась и сказала поручику, что барышня принять его не может, так как чувствует себя не совсем здоровой. Сокольский поглядел на потолок и вытянул нижнюю губу.

— Досадно! — сказал он. — Послушайте, моя милая, — живо заговорил он, — подите и скажите Сусанне Моисеевне, что мне очень нужно поговорить с ней. Очень! Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинит меня.

Горничная пожала одним плечом и лениво пошла к барышне.

— Хорошо! — вздохнула она, вернувшись немного погодя. — Пожалуйте!

Поручик прошел за ней пять-шесть больших, роскошно убранных комнат, коридор и в конце концов очутился в просторной

квадратной комнате, где с первого же шага его поразило изобилие цветущих растений и сладковатый, густой до отвращения запах жасмина. Цветы шпалерами тянулись вдоль стен, заслоня окна, свешивались с потолка, вились по углам, так что комната походила больше на оранжерею, чем на жилое помещение. Синицы, канарейки и щеглыта с писком возились в зелени и бились об оконные стекла.

— Простите, пожалуйста, что я вас здесь принимаю! — услышал поручик сочный женский голос, не без приятности картавящий звук *p*. — Вчера у меня была мигрень, и, чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?

Как раз против входа, в большом стариковском кресле, откинувши голову назад на подушку, сидела женщина в дорогом китайском шлафроке и с укутанной головой. Из-за вязаного шерстяного платка виден был только бледный длинный нос с острым кончиком и маленькой горбинкой, да один большой черный глаз. Просторный шлафрок скрывал ее рост и формы, но по белой красивой руке, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше двадцати шести — двадцати восьми лет.

— Простите, что я так настойчив... — начал поручик, звякая шпорами. — Честь имею представиться: Сокольский! Приехал я по поручению моего кузена, а вашего соседа, Алексея Ивановича Крюкова, который...

— Ах, знаю! — перебила Сусанна Моисеевна. — Я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоит что-нибудь большое.

— Мой двоюродный брат поручил мне просить вас об одном одолжении, — продолжал поручик, еще раз звякнув шпорами и садясь. — Дело в том, что ваш покойный батюшка покупал зимою у брата овес и остался ему должен небольшую сумму. Срок векселям будет только через неделю, но брат убедительно просил вас, не можете ли вы уплатить этот долг сегодня?

Поручик говорил, а сам искоса поглядывал в стороны.

«Да, никак, я в спальне?» — думал он.

В одном из углов комнаты, где зелень была гуще и выше, под розовым, точно погребальным, балдахинном стояла кровать с измятой, еще не прибранной постелью. Тут же на двух креслах лежали кучи скомканного женского платья. Подолы и рукава, с помятыми кружевами и оборками, свешивались на ковер, по которому там и сям белели тесемки, два-три окурка,

бумажки от карамели... Из-под кровати глядели тупые и острые носы длинного ряда всевозможных туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запах идет не от цветов, а от постели и ряда туфель.

— А на какую сумму векселя? — спросила Сусанна Моисеевна.

— На две тысячи триста.

— Ого! — сказала еврейка, показывая и другой большой черный глаз. — А вы говорите — немного! Впрочем, все равно, что сегодня платить, что через неделю, но у меня в эти два месяца после смерти отца было так много платежей... столько глупых хлопот, что голова кружится! Прошу покорнейше, мне за границу нужно ехать, а меня заставляют заниматься глупостями. Водка, овес... — забормотала она, наполовину закрывая глаза, — овес, векселя, проценты или, как говорит мой главный приказчик, «прученты»... Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизного. Пристает ко мне со своим Траллесом. Я ему и говорю: убирайтесь вы к черту с вашим Траллесом, я никого не принимаю! Поцеловал руку и ушел. Послушайте, не может ли ваш брат подождать месяца два-три?

— Жестокий вопрос! — засмеялся поручик. — Брат может и год ждать, но я-то не могу ждать! Ведь это я, надо вам сказать, ради себя хлопочу. Мне нужны во что бы то ни стало деньги, а у брата, как нарочно, ни одного свободного рубля. Приходится поневоле ездить и собирать долги. Сейчас был у арендатора-мужика, теперь вот у вас сижу, от вас еще куда-нибудь поеду и так, пока не соберу пяти тысяч. Ужасно нужны деньги!

— Полноте, на что молодому человеку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокутились, проигрались, женитесь?

— Вы угадали! — засмеялся поручик и, слегка приподнявшись, звякнул шпорами. — Действительно, я женюсь...

Сусанна Моисеевна пристально поглядела на гостя, сделала кислое лицо и вздохнула.

— Не понимаю, что за охота у людей жениться! — сказала она, ища вокруг себя носовой платок. — Жизнь так коротка, так мало свободы, а они еще связывают себя.

— У всякого свой взгляд...

— Да, да, конечно, у всякого свой взгляд... Но, послушайте, разве вы женитесь на бедной? По страстной любви? И почему вам нужно непременно пять тысяч, а не четыре, не три?

«Какой, однако, у нее длинный язык!» — подумал поручик и ответил:

— История в том, что, по закону, офицер не может жениться раньше двадцати восьми лет. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же вноси пять тысяч залога.

— Ага, теперь понимаю. Послушайте, вот вы сейчас сказали, что у каждого свой взгляд... Может быть, ваша невеста какая-нибудь особенная, замечательная, но... я решительно не понимаю, как это порядочный человек может жить с женщиной? Не понимаю, хоть убейте. Живу я уже, слава тебе господи, двадцать семь лет, но ни разу в жизни не видела ни одной сносной женщины. Все ломаки, безнравственные, лгуньи... Я терплю только горничных и кухарок, а так называемых порядочных я к себе и на пушечный выстрел не подпускаю. Да, слава богу, они сами меня ненавидят и не лезут ко мне. Коли ей нужны деньги, так она мужа пришлет, а сама ни за что не поедет, не из гордости, нет, а просто из трусости, боится, чтоб я ей сцены не сделала. Ах, я отлично понимаю их ненависть! Еще бы! Я откровенно выставляю на вид то, что они всеми силами стараются спрятать от бога и людей. Как же после этого не ненавидеть? Наверное, вам про меня уж с три короба наговорили...

— Я так недавно сюда приехал, что...

— Но, но, но... по глазам вижу! А разве жена вашего брата не снабдила вас напутствием? Отпускать молодого человека к такой ужасной женщине и не предостеречь — как можно? Ха, ха... Но что, как ваш брат? Он у вас молодец, такой красивый мужчина... Я его несколько раз в обедне видела. Что вы на меня так глядите? Я очень часто бываю в церкви! У всех один бог. Для образованного человека не так важна внешность, как идея... Не правда ли?

— Да, конечно... — улыбнулся поручик.

— Да, идея... А вы совсем не похожи на вашего брата. Вы тоже красивы, но ваш брат гораздо красивее. Удивительно, как мало сходства!

— Немудрено: ведь мы не родные, а двоюродные.

— Да, правда. Так вам непременно сегодня нужны деньги? Почему сегодня?

— На днях кончается срок моего отпуска.

— Ну, что ж с вами делать! — вздохнула Сусанна Моисеевна. — Так и быть уж, дам вам денег, хотя и знаю, что будете бранить меня. Поссоритесь после свадьбы с женой и скажете: «Если б та пархатая жидовка не дала мне денег, так я, может быть, был бы теперь свободен, как птица!» Ваша невеста хороша собой?

— Да, ничего...

— Гм!.. Все-таки лучше хоть что-нибудь, хоть красота, чем ничего. Впрочем, никакой красотой женщина не может заплатить мужу за свою пустоту.

— Это оригинально! — засмеялся поручик. — Вы сами женщина, а такая женофобка!

— Женщина... — усмехнулась Сусанна. — Разве я виновата, что бог послал мне такую оболочку? В этом я так же виновата, как вы в том, что у вас есть усы. Не от скрипки зависит выбор футляра. Я себя очень люблю, но когда мне напоминают, что я женщина, то я начинаю ненавидеть себя. Ну, вы уйдите отсюда, я оденусь. Подождите меня в гостиной.

Поручик вышел и первым делом глубоко вздохнул, чтобы отделаться от тяжелого жасминного запаха, от которого у него уже начинало кружить голову и першить в горле. Он был удивлен.

«Какая странная! — думал он, осматриваясь. — Говорит складно, но... уж чересчур много и откровенно. Психопатка какая-то».

Гостиная, в которой он стоял теперь, была убрана богато, с претензией на роскошь и моду. Тут были темные бронзовые блюда с рельефами, виды Ниццы и Рейна на столах, старинные бра, японские статуэтки, но все эти поползновения на роскошь и моду только оттеняли ту безвкусицу, о которой неумолимо кричали золоченые карнизы, цветистые обои, яркие бархатные скатерти, плохие олеографии в тяжелых рамах. Безвкусицу дополняли незаконченность и лишняя теснота, когда кажется, что чего-то недостает и что многое следовало бы выбросить. Заметно было, что вся обстановка заводилась не сразу, а частями, путем выгодных случаев, распродаж.

Поручик сам обладал не бог весть каким вкусом, но и он заметил, что вся обстановка носит на себе одну характерную особенность, какую нельзя стереть ни роскошью, ни модой, а именно — полное отсутствие следов женских хозяйских рук, придающих, как известно, убранству комнат оттенок теплоты, поэзии и уютности. Здесь веяло холодом, как в вокзальных комнатах, клубах и театральных фойе.

Собственно еврейского в комнате не было почти ничего, кроме разве одной только большой картины, изображавшей встречу Иакова с Исавом. Поручик оглядывался кругом и, пожимая плечами, думал о своей новой странной знакомке, о ее развязности и манере говорить. Но вот раскрылась дверь, и на пороге появилась она сама, стройная, в длинном черном

платье, с сильно затянутой, точно выточенной талией. Теперь уж поручик видел не только нос и глаза, но и белое худощавое лицо, черную кудрявую, как барашек, голову. Она не понравилась ему, хотя и не показалась некрасивой. Вообще к нерусским лицам он питал предубеждение, а тут к тому же нашел, что к черным кудряшкам и густым бровям хозяйки очень не шло белое лицо, своею белизною напоминавшее ему почему-то приторный жасминный запах, что уши и нос были поразительно бледны, как мертвые или вылитые из прозрачного воска. Улыбнувшись, она вместе с зубами показала бледные десны, что тоже ему не понравилось.

«Бледная немочь... — подумал он. — Вероятно, нервна, как индюшка».

— А вот и я! Пойдемте! — сказала она, идя быстро впереди его и обрывая на пути с цветов желтые листки. — Сейчас я дам вам деньги и, если хотите, покормлю завтраком. Две тысячи триста рублей! После такого хорошего гешефта вы с аппетитом покусаете. Нравятся вам мои комнаты? Здешние барыни говорят, что у меня пахнет чесноком. Этой кухонной остротой исчерпывается все их остроумие. Спешу вас уверить, что чесноку я даже в погребке не держу, и когда однажды ко мне приехал с визитом доктор, от которого пахло чесноком, то я попросила его взять свою шляпу и ехать благоухать куда-нибудь в другое место. Пахнет у меня не чесноком, а лекарствами. Отец лежал в параличе полтора года и весь дом продушил лекарствами. Полтора года! Мне жаль его, но я рада, что он умер: так он страдал!

Она провела офицера через две комнаты, похожие на гостиную, через залу и остановилась в своем кабинете, где стоял женский письменный столик, весь уставленный безделушками. Около него, на ковре, валялось несколько раскрытых загнутых книг. Из кабинета вела небольшая дверь, в которую виден был стол, накрытый для завтрака.

Не переставая болтать, Сусанна достала из кармана связку мелких ключей и отперла какой-то мудреный шкаф с гнутой, покатою крышкой. Когда крышка поднялась, шкаф прогудел жалобную мелодию, напомнившую поручику Эолову арфу. Сусанна выбрала еще один ключ и вторично щелкнула.

— У меня здесь подземные ходы и потайные двери, — сказала она, доставая небольшой сафьяновый портфель. — Смешной шкаф, не правда ли? А в этом портфеле четверть моего состояния. Посмотрите, какой он пузатенький! Ведь вы меня не придушите?

Сусанна подняла на поручика глаза и добродушно засмеялась. Поручик тоже засмеялся.

«А она славная!» — подумал он, глядя, как ключи бегают между ее пальцами.

— Вот он! — сказала она, выбрав ключик от портфеля. — Ну-с, господин кредитор, пожалуйста на сцену векселя. В сущности, какая глупость вообще деньги! Какое ничтожество, а ведь как любят их женщины! Знаете, я еврейка до мозга костей, без памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мне противно в нашей семитической крови, так это страсть к наживе. Копят и сами не знают, для чего копят. Нужно жить и наслаждаться, а они боятся потратить лишнюю копейку. В этом отношении я больше похожа на гусара, чем на Шмуля. Не люблю, когда деньги долго лежат на одном месте. Да и вообще, кажется, я мало похожа на еврейку. Сильно выдает меня мой акцент, а?

— Как вам сказать? — замялся поручик. — Вы говорите чисто, но картавите.

Сусанна засмеялась и сунула ключик в замочек портфеля. Поручик достал из кармана пачечку векселей и положил ее вместе с записной книжкой на стол.

— Ничто так не выдает еврея, как акцент, — продолжала Сусанна, весело глядя на поручика. — Как бы он ни корчил из себя русского или француза, но попросите его сказать слово пух, и он скажет вам: пэххх... А я выговариваю правильно: пух! пух! пух!

Оба засмеялись.

«Ей-богу, она славная!» — подумал Сокольский.

Сусанна положила портфель на стул, сделала шаг к поручику и, приблизив свое лицо к его лицу, весело продолжала:

— После евреев никого я так не люблю, как русских и французов. Я плохо училась в гимназии и истории не знаю, но мне кажется, что судьба земли находится в руках у этих двух народов. Я долго жила за границей... даже в Мадриде прожила полгода... нагляделась на публику и вынесла такое убеждение, что, кроме русских и французов, нет ни одного порядочного народа. Возьмите вы языки... Немецкий язык лошадиный, английский — глупее ничего нельзя себе представить; фэйт-фэйт-фэйт! Итальянский приятен, только когда говоришь на нем медленно, если же послушать итальянских чечоток, то получается тот же еврейский жаргон. А поляки? Боже мой, господи! Нет противнее языка! «Не пепши, Петше, пепшем вепша, бо можешь пшелепшитсь вепша пел-

шем». Это значит: не перчи, Петр, перцем поросенка, а то можешь переперчить поросенка перцем. Ха-ха-ха!

Сусанна Моисеевна закатила глаза и засмеялась таким хорошим заразительным смехом, что поручик, глядя на нее, весело и громко расхохотался. Она взяла гостя за пуговицу и продолжала:

— Вы, конечно, не любите евреев... Я не спорю, недостатков много, как и у всякой нации. Но разве евреи виноваты? Нет, не евреи виноваты, а еврейские женщины! Они недалеко, жадны, без всякой поэзии, скучны... Вы никогда не жили с еврейской и не знаете, что это за прелесть!

Последние слова проговорила Сусанна Моисеевна протяжно, уже без воодушевления и смеха. Она умолкла, точно испугалась своей откровенности, и лицо ее вдруг исказилось странным и непонятным образом. Глаза, не мигая, уставились на поручика, губы открылись и обнаружили стиснутые зубы. На всем лице, на шее и даже на груди задрожало злое, кошачье выражение. Не отрывая глаз от гостя, она быстро перегнула свой стан в сторону и порывисто, как кошка, схватила что-то со стола. Все это было делом нескольких секунд. Следя за ее движениями, поручик видел, как пять пальцев скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад...

А она, не сводя с него испуганных пытливых глаз, водила сжатым кулаком себя по бедру и искала кармана. Кулак судорожно, как пойманная рыба, бился около кармана и никак не попадал в щель. Еще мгновение, и векселя исчезли бы в тайниках женского платья, но тут поручик слегка вскрикнул и, побуждаемый больше инстинктом, чем разумом, схватил еврейку за руку около сжатого кулака. Та, еще больше оскалив зубы, рванулась изо всех сил и вырвала руку. Тогда Сокольский одной рукой плотно обхватил ее талию, другой — грудь, и у них началась борьба. Боясь оскорбить женственность и причинить боль, он старался только не давать ей двигаться и уловить кулак с векселями, а она, как угорь, извивалась в его руках своим гибким, упругим телом, рвалась, била его в грудь локтями, царапалась. так что руки его ходили по всему ее телу и он поневоле причинял ей боль и оскорблял ее стыдливость.

«Как это необыкновенно! Как странно!» — думал он, не помня себя от удивления, не веря себе и чувствуя всем своим существом, как его мутит от запаха жасмина.

Молча, тяжело дыша, натываясь на мебель, они переходили с места на место. Сусанну увлекла борьба. Она раскраснелась, закрыла глаза и раз даже, не помня себя, крепко прижалась своим лицом к лицу поручика, так что на губах его остался сладковатый вкус. Наконец он поймал кулак... Разжав его и не найдя в нем векселей, он оставил еврейку. Красные, с встрепанными прическами, тяжело дыша, глядели они друг на друга. Злое, кошачье выражение на лице еврейки мало-помалу сменилось добродушной улыбкой. Она расхохоталась и, повернувшись на одной ноге, направилась в комнату, где был приготовлен завтрак. Поручик поплелся за ней. Она села за стол и, все еще красная, тяжело дыша, выпила полрюмки портвейна.

— Послушайте, — прервал молчание поручик, — вы, надеюсь, шутите?

— Нисколько, — ответила она, запихивая в рот кусочек хлеба.

— Гм!.. Как же прикажете понять все это?

— Как угодно. Садитесь завтракать!

— Но... Ведь это нечестно!

— Может быть. Впрочем, не трудитесь читать мне проповедь. У меня свой собственный взгляд на вещи.

— Вы не отдадите?

— Конечно, нет! Будь вы бедный, несчастный человек, которому есть нечего, ну, тогда другое дело, а то — жениться захотел!

— Но ведь это не мои деньги, а брата!

— А брату вашему на что деньги? Жене на моды? А мне решительно все равно, есть ли у вашей *bellesoeur*¹ платья, или нет.

Поручик уже не помнил, что он в чужом доме, у незнакомой дамы, и не стеснял себя приличием. Он шагал по комнате, хмурился и нервно тербил жилетку. Оттого, что еврейка своим бесчестным поступком уронила себя в его глазах, он чувствовал себя смелее и развязнее.

— Черт знает что! — бормотал он. — Послушайте, я не уйду отсюда, пока не получу от вас векселей!

— Ах, тем лучше! — смеялась Сусанна. — Хоть жить здесь оставайтесь, мне же будет веселее.

Возбужденный борьбою поручик глядел на смеющееся наглое лицо Сусанны, на жующий рот, тяжело дышащую

¹ невестки (франц.).

грудь и становился смелее и дерзче. Вместо того чтобы думать о векселях, он почему-то с какою-то жадностью стал припоминать рассказы своего брата о романтических похождениях еврейки, о ее свободном образе жизни, и эти воспоминания только подзадорили его дерзость. Он порывисто сел рядом с еврейкой и, не думая о векселях, стал есть...

— Вам водки или вина? — спрашивала со смехом Сусанна. — Так вы останетесь ждать векселя? Бедняжка, столько дней и ночей придется вам провести у меня в ожидании векселей! Ваша невеста не будет в претензии?

19

Прошло пять часов. Брат поручика, Алексей Иванович Крюков, облеченный в калат и туфли, ходил у себя в усадьбе по комнатам и нетерпеливо посматривал в окна. Это был высокий плотный мужчина с большой черной бородой, с мужественным лицом и, как сказала правду еврейка, красивый собой, хотя уже и перевалил в тот возраст, когда мужчины излишне толстеют, брюзгнут и плешивеют. По духу и разуму принадлежал он к числу натур, которыми так богата наша интеллигенция: сердечный и добродушный, воспитанный, не чуждый наук, искусств, веры, самых рыцарских понятий о чести, но не глубокий и ленивый. Он любил хорошо поесть и выпить, играл идеально в винт, знал вкус в женщинах и лошадях, в остальном же прочем был туг и неподвижен, как тюлень, и чтобы вызвать его из состояния покоя, требовалось что-нибудь необыкновенное, слишком возмутительное, и тогда уж он забывал все на свете и проявлял крайнюю подвижность: вопил о дуэли, писал на семи листах прошение министру, сломя голову скакал по уезду, пускал публично «подлеца», судился и т. п.

— Что же это нашего Саши до сих пор нет? — спрашивал он жену, заглядывая в окна. — Ведь обедать пора!

Подождав поручика до шести часов, Крюковы сели обедать. Вечером, когда уже была пора ужинать, Алексей Иванович прислушивался к шагам, к стуку дверей и пожимал плечами.

— Странно! — говорил он. — Должно быть, канальский фендрик у арендатора застрял.

Ложась после ужина спать, Крюков так и решил, что поручик загостился у арендатора, где после хорошей попойки остался ночевать.

Александр Григорьевич вернулся домой только на другой день утром. Вид у него был крайне сконфуженный и помятый.

— Мне нужно поговорить с тобой наедине... — сказал он таинственно брату.

Пошли в кабинет. Поручик запер дверь и, прежде чем начать говорить, долго шагал из угла в угол.

— Такое, братец, случилось, — начал он, — что я не знаю, как и сказать тебе. Не поверишь ты...

И он, заикаясь, краснея и не глядя на брата, рассказал историю с векселями. Крюков, расставя ноги и опустив голову, слушал и хмурился.

— Ты это шутишь? — спросил он.

— Кой черт шучу? Какие тут шутки!

— Не понимаю! — пробормотал Крюков, багровея и разводя руками. — Это даже... безнравственно с твоей стороны. Бабенка на твоих глазах творит черт знает что, уголовщину, делает подлость, а ты лезешь целоваться!

— Но я сам не понимаю, как это случилось! — зашептал поручик, виновато мигая глазами. — Честное слово, не понимаю! Первый раз в жизни наскочил на такое чудовище! Не красотой берет, не умом, а этой, понимаешь, наглостью, цинизмом...

— Наглостью, цинизмом... Как это чистоплотно! Уж если так тебе захотелось наглости и цинизма, то взял бы свинью из грязи и съел бы ее живьем! По крайней мере дешевле, а то — две тысячи триста!

— Как ты изящно выражаешься! — поморщился поручик. — Я тебе отдам эти две тысячи триста!

— Знаю, что отдашь, но разве в деньгах дело? Ну их к черту, эти деньги! Меня возмущает твоя тряпичность, дряблость... малодушество поганое! Жених! Имеет невесту!

— Но не напоминай... — покраснел поручик. — Мне теперь самому противно. Сквозь землю готов провалиться... Противно и досадно, что за пятью тысячами придется теперь к тетке лезть...

Крюков долго еще возмущался и ворчал, потом, успокоившись, сел на софу и стал посмеиваться над братом.

— Поручики! — говорил он с презрительной иронией в голосе. — Женихи!

Вдруг он вскочил как ужаленный, топнул ногой и забегал по кабинету.

— Нет, я этого так не оставлю! — заговорил он, потрясая кулаком. — Векселя будут у меня! Будут! Я упеку ее! Женщин не бьют, но ее я изувечу... мокрого места не останется!

Я не поручик! Меня не тронешь наглостью и цинизмом! Не-ет, черт ее подери! Мишка, — закричал он, — беги скажи, чтоб мне беговые дрожки заложили!

Крюков быстро оделся и, не слушая встревоженного поручика, сел на беговые дрожки, решительно махнул рукой и покатил к Сусанне Моисеевне. Поручик долго глядел в окно на облако пыли, бежавшее за его дрожками, потянулся, зевнул и пошел к себе в комнату. Через четверть часа он спал крепким сном.

В шестом часу его разбудили и позвали к обеду.

— Как это мило со стороны Алексея! — встретила его в столовой невестка. — Заставляет ждать себя обедать!

— А разве он еще не приехал? — зевнул поручик. — Гм... вероятно, к арендатору заехал.

Но и к ужину не вернулся Алексей Иванович. Его жена и Сокольский порешили, что он заигрался в карты у арендатора и, по всей вероятности, останется у него ночевать. Случилось же совсем не то, что они предполагали.

Крюков вернулся на другой день утром и, ни с кем не здороваясь, молча юркнул к себе в кабинет.

— Ну, что? — зашептал поручик, глядя на него большими глазами.

Крюков махнул рукой и фыркнул.

— Да что такое? Что ты смеешься?

Крюков повалился на диван, уткнул голову в подушку и затрясся от сдерживаемого хохота. Через минуту он поднялся и, глядя на удивленного поручика плачущими от смеха глазами, заговорил:

— Прикрой-ка дверь. Ну, да и ба-а-ба же, я тебе доложу!

— Получил векселя?

Крюков махнул рукой и опять захохотал.

— Ну, да и баба! — продолжал он. — Мерси, братец, за знакомство! Это черт в юбке. Приезжаю я к ней, вхожу, знаешь, таким Юпитером, что самому себя страшно... нахмурился, насупился, даже кулаки сжал для пущей важности... «Сударыня, говорю, со мной шутки плохи!» — и прочее в таком роде. И судом грозил и губернатором... Она сначала заплакала, сказала, что пошутила с тобой, и даже повела меня к шкапу, чтобы отдать деньги, потом стала доказывать, что будущность Европы в руках русских и французов, обругала женщин... Я по-твоему развесил уши, осел я этакий... Спела она панегирик моей красоте, потрепала меня за руку около плеча, чтобы посмотреть, какой я сильный, и... и, как видишь, сейчас только от нее убрался... Ха-ха... От тебя она в восторге!

— Хорош мальчик! — засмеялся поручик. — Женатый, почтенный... Что, стыдно? Противно? Однако, брат, не шутя говоря, у вас в уезде своя царица Тамара завелась...

— Кой черт в уезде? Другого такого хамелеона во всей России не сыщешь! Отродясь ничего подобного не видывал, а уж я ли не знаток по этой части? Кажется, с ведьмами жил, а ничего подобного не видывал. Именно наглостью и цинизмом берет. Что в ней завлекательно, так это резкие переходы, переливы красок, эта порывистость анафемская... Бррр! А векселя — фюйт. Пиши — пропало. Оба мы с тобой великие грешники, грех пополам. Считаю за тобою не две тысячи триста, а половину. Чур, жене говорить, что у арендатора был.

Крюков и поручик уткнули головы в подушки и принялись хохотать. Поднимут головы, взглянут друг на друга и опять упадут на подушки.

— Женихи! — дразнил Крюков. — Поручики!

— Женатые! — отвечал Сокольский. — Почтенные! Отцы семейств!

За обедом они говорили намеками, перемигивались и то и дело, к удивлению домочадцев, прыскали в салфетки. После обеда, все еще находясь в отменном настроении, они нарядились турками и, гоняясь с ружьями друг за другом, представляли детям войну. Вечером они долго спорили. Поручик доказывал, что низко и подло брать за женой приданое, даже в случае страстной любви с обеих сторон; Крюков же стучал кулаками по столу и говорил, что это абсурд, что муж, не желающий, чтобы жена имела собственность, эгоист и деспот. Оба кричали, кипятились, не понимали друг друга, порядком выпили и в конце концов, подобрав полы своих халатов, разошлись по спальням. Уснули они скоро и спали крепко.

Жизнь потекла по-прежнему ровная, ленивая и беспечальная. Тени ложились на землю, в облаках гремел гром, изредка жалобно стонал ветер, как бы желая показать, что и природа может плакать, но ничто не тревожило привычного покоя этих людей. О Сусанне Моисеевне и о векселях они не говорили. Обоим было как-то совестно говорить вслух об этой истории. Зато вспоминали они и думали о ней с удовольствием, как о курьезном фарсе, который неожиданно и случайно разыграла с ними жизнь и о котором приятно будет вспомнить под старость...

На шестой или седьмой день после свидания с еврейкой, утром Крюков сидел у себя в кабинете и писал поздравительное письмо к тетке. Около стола молча прохаживался Алек-

сандр Григорьевич. Поручик плохо спал ночь, проснулся не в духе и теперь скучал. Он ходил и думал о сроке своего отпуска, об ожидавшей его невесте, о том, как это не скучно людям весь век жить в деревне. Остановившись у окна, он долго глядел на деревья, выкурил подряд три папиросы и вдруг повернулся к брату.

— У меня, Алеша, к тебе просьба, — сказал он. — Одолжи мне на сегодня верховую лошадь...

Крюков пытливо поглядел на него и, нахмурившись, продолжал писать.

— Так дашь? — спросил поручик.

Крюков опять поглядел на него, потом медленно выдвинул из стола ящик и, достав оттуда толстую пачку, подал ее брату.

— Вот тебе пять тысяч... — сказал он. — Хоть и не мои они, но бог с тобой, все равно. Советую тебе, посылай сейчас за почтовыми и уезжай. Право!

Поручик в свою очередь пытливо поглядел на Крюкова и вдруг засмеялся.

— А ведь ты угадал, Алеша, — сказал он, краснея. — Я ведь именно к ней хотел ехать. Как подала мне вчера вечером прачка этот проклятый китель, в котором я был тогда, и как запахло жасмином, то... так меня и потянуло!

— Уехать надо.

— Да, действительно. Кстати, уж и отпуск кончился. Правда, поеду сегодня! Ей-богу! Сколько ни живи, а все уехать придется... Еду!

В тот же день перед обедом были поданы почтовые; поручик простился с Крюковым и, сопровождаемый благими пожеланиями, уехал.

Прошла еще неделя. Был пасмурный, но жаркий и душный день. С самого раннего утра Крюков бесцельно бродил по комнатам, засматривал в окна или же перелистывал давно уже надоевшие альбомы. Когда ему попадались на глаза жена или дети, он начинал сердито ворчать. В этот день ему почему-то казалось, что дети ведут себя отвратительно, жена плохо глядит за прислугой, что расходы ведутся несообразно с доходами. Все это значило, что «господа» не в духе.

После обеда Крюков, недовольный супом и жарким, велел заложить беговые дрожки. Медленно выехал он со двора, проехал шагом четверть версты и остановился.

«Нешто к той... к тому черту съездить?» — подумал он, глядя на пасмурное небо.

И Крюков даже засмеялся, точно впервые за весь день задал себе этот вопрос. Тотчас же от сердца его отлегла скука и в ленивых глазах заблестело удовольствие. Он ударил по лошади...

Всю дорогу воображение его рисовало, как еврейка удивится его приезду, как он посмеется, поболтает и вернется домой освеженный...

«Раз в месяц надо освежать себя чем-нибудь... необычным, — думал он, — чем-нибудь таким, что производило бы в застоявшемся организме хорошую встрепку... реакцию... Будь то хоть выпивка, хоть... Сусанна. Нельзя без этого».

Уже темнело, когда он въехал во двор водочного завода. Из открытых окон хозяйского дома слышались смех и пение:

Ярррче молнии, жарррче пламени... —

пел чей-то сильный, густой бас.

«Эге, у нее гости!» — подумал Крюков.

И ему стало неприятно, что у нее гости. «Не вернуться ли?» — думал он, берясь за звонок, но все-таки позвонил и пошел вверх по знакомой лестнице. Из передней он заглянул в залу. Там было человек пять мужчин — всё знакомые помещики и чиновники. Один, высокий и тощий, сидел за роялью, стучал длинными пальцами по клавишам и пел. Остальные слушали и скалили от удовольствия зубы. Крюков огляделся перед зеркалом и хотел уже войти в залу, как в переднюю впорхнула сама Сусанна Моисеевна, веселая, в том же черном платье... Увидев Крюкова, она на мгновение окаменела, потом вскрикнула и просияла от радости.

— Это вы? — сказала она, хватая его за руку. — Какой сюрприз!

— А, вот она! — улыбнулся Крюков, беря ее за талию. — Так как? Судьба Европы находится в руках русских и французов?

— Я так рада! — засмеялась еврейка, осторожно отводя его руку. — Ну, идите в залу. Там всё знакомые... Я пойду скажу, чтобы вам чаю подали. Вас Алексеем зовут? Ну, ступайте, я сейчас...

Она сделала ручкой и выбежала из передней, оставив после себя запах того же приторного, сладковатого жасмина. Крюков поднял голову и вошел в залу. Он был приятельски знаком со всеми, кто был в зале, но едва кивнул им головой; те ему тоже едва ответили, точно место, где они встретились,

было непристойно или они мысленно стоворились, что для них удобнее не узнавать друг друга.

Из залы Крюков прошел в гостиную, отсюда в другую гостиную. На пути попались ему три-четыре гостя, тоже знакомых, но едва узнавших его. Лица их были пьяны и веселы. Алексей Иванович косился на них и недоумевал, как это они, люди семейные, почтенные, испытанные горем и нуждою, могут унижать себя до такой жалкой, грошовой веселости! Он пожимал плечами, улыбался и шел дальше.

«Есть места,— думал он,— где трезвого тошнит, а у пьяного дух радуется. Помню, в оперетку и к цыганам я ни разу трезвым не ездил. Вино делает человека добрее и мирит его с пороком...»

Вдруг он остановился как вкопанный и обеими руками ухватился за косяк двери. В кабинете Сусанны, за письменным столом, сидел поручик Александр Григорьевич. Он о чем-то тихо разговаривал с толстым обрюзглым евреем, а увидев брата, вспыхнул и опустил глаза в альбом.

Чувство порядочности встрепенулось в Крюкове, и кровь ударила ему в голову. Не помня себя от удивления, стыда и гнева, он молча прошелся около стола. Сокольский еще ниже опустил голову. Лицо его перекосило выражением мучительного стыда...

— Ах, это ты, Алеша! — проговорил он, сясь поднять глаза и улыбнуться. — Я заехал сюда проститься и, как видишь... Но завтра я обязательно уезжаю!

«Ну, что я могу сказать ему? Что? — думал Алексей Иванович. — Какой я для него судья, если я и сам здесь?»

И, ни слова не сказав, а только побрякав, он медленно вышел.

Не называй ее небесной и у земли не отнимай... —

пел в зале бас. Немного погодя беговые дрожки Крюкова уже стучали по пыльной дороге.

ПЕРЕКРАТКИ-ПОЛЕ

Путевой набросок

Я возвращался со всенощной. Часы на святогорской колокольне, в виде предисловия, проиграли свою тихую, мелодичную музыку и вслед за этим пробили двенадцать. Большой монастырский двор, расположенный на берегу Донца у подножия Святой Горы и огороженный, как стеною, высокими гостиными корпусами, теперь, в ночное время, когда его освещали только тусклые фонари, огоньки в окнах да звезды, представлял из себя живую кашу, полную движения, звуков и оригинальнейшего беспорядка. Весь он, от края до края, куда только хватало зрение, был густо запружен всякого рода телегами, кибитками, фургонами, арбами, колымагами, около которых толпились темные и белые лошади, рогатые волы, суетились люди, сновали во все стороны черные длиннополые послушники; по возам, по головам людей и лошадей двигались тени и полосы света, бросаемые из окон, — и все это в густых сумерках принимало самые причудливые, капризные формы: то поднятые оглобли вытягивались до неба, то на морде лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черные крылья... Слышались говор, фырганье и жеванье лошадей, детский писк, скрип. В ворота входили новые толпы и въезжали запоздавшие телеги.

Сосны, которые громоздились на отвесной горе одна над другой и склонялись к крыше гостиного корпуса, глядели во двор, как в глубокую яму, и удивленно прислушивались; в их темной чаще, не умолкая, кричали кукушки и соловьи... Глядя на сумятицу, прислушиваясь к шуму, казалось, что в этой живой каше никто никого не понимает, все чего-то ищут и не находят и что этой массе телег, кибиток и людей едва ли удастся когда-нибудь разъехаться.

К дням Иоанна Богослова и Николая Чудотворца в Святые Горы стеклось более десяти тысяч. Были битком набиты

не только гостинные корпуса, но даже пекарня, швальня, столлярная, каретная... Те, которые явились к ночи, в ожидании, пока им укажут место для ночлега, как осенние мухи, жались у стен, у колодцев или же в узких коридорчиках гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились в непрерывном движении, без отдыха и без надежды на смену. Днем и поздною ночью они одинаково производили впечатление людей, куда-то спешащих и чем-то встревоженных, лица их, несмотря на крайнее изнеможение, одинаково были бодры и приветливы, голос ласков, движения быстры... Каждому приехавшему и пришедшему они должны были найти и указать место для ночлега, дать ему поесть и напиться; кто был глух, бестолков или щедр на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нет пустых номеров, в какие часы бывает служба, где продаются просфоры и т.д. Нужно было бегать, носить, неумолкаемо говорить, но мало того, нужно еще быть любезным, тактичным, стараться, чтобы мариупольские греки, живущие комфортабельнее, чем хохлы, помещались не иначе, как с греками, чтобы какая-нибудь бахмутская или лисичанская мещанка, одетая «благородно», не попала в одно помещение с мужиками и не обиделась. То и дело слышались возгласы: «Батюшка, благословите кваску! Благословите сенца!» Или же: «Батюшка, можно мне после исповеди воды напиться?» И послушник должен был выдавать квас, сена или же отвечать: «Обратитесь, матушка, к духовнику. Мы не имеем власти разрешать». Следовал новый вопрос: «А где духовник?» И нужно было объяснять, где келия духовника... При такой хлопотливой деятельности хватало еще времени ходить в церковь на службу, служить на дворянской половине и пространно отвечать на массу праздных и непраздных вопросов, какими любят сыпать интеллигентные богомольцы. Приглядываясь к ним в течение суток, трудно было понять, когда сидят и когда спят эти черные движущиеся фигуры.

Когда я, возвращаясь со всенощной, подошел к корпусу, в котором мне было отведено помещение, на пороге стоял монах-гостиник, а возле него толпилось на ступенях несколько мужчин и женщин в городском платье.

— Господин, — остановил меня гостиник, — будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку переночевать в вашем номере! Сделайте милость! Народу много, а мест нет — просто беда!

И он указал на невысокую фигуру в легком пальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожитель

отправился за мной. Отпирая у своей двери всякий замок, я всякий раз, хочешь не хочешь, должен был смотреть на картину, висевшую у самого косяка на уровне моего лица. Эта картина с заглавием «Размышление о смерти» изображала коленапреклоненного монаха, который глядел в гроб и на лежавший в нем скелет; за спиной монаха стоял другой скелет покрупнее и с косою.

— Кости такие не бывают, — сказал мой сожитель, указывая на то место скелета, где должен быть таз. — Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта, — добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох, который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище.

Пока я искал спички и зажигал свечу, он еще раз вздохнул и сказал:

— В Харькове я несколько раз бывал в анатомическом театре и видел кости. Был даже в мертвецкой. Я не стесняю вас?

Мой номер был мал и тесен, без стола и стульев, весь занятый комодом у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стен друг против друга и отделенными узким проходом. На диванчиках лежали тощие, порыжевшие матрасики и мои вещи. Диванов было два, — значит, номер предназначался для двоих, на что я и указал сожителю.

— Впрочем, скоро зазвонят к обеду, — сказал он, — и мне недолго придется стеснять вас.

Все еще думая, что он меня стесняет, и чувствуя неловкость, он виноватою походкою пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Когда сальная свечка, кивая своим ленивым и тусклым огнем, достаточно разгорелась и осветила нас обоих, я мог уже разглядеть его. Это был молодой человек лет двадцати двух, круглолицый, миловидный, с темными детскими глазами, одетый по-городски во все серенькое и дешевое и, как можно было судить по цвету лица и по узким плечам, не знавший физического труда. Типа он казался самого неопределенного. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торгового человека, ни тем паче за рабочего, а глядя на миловидное лицо и детские, ласковые глаза, не хотелось думать, что это один из тех празднопатаев-пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают ночлег, хоть пруд пруди и которые выдают себя за семинаристов, исключенных за правду, или за бывших певчих, потерявших голоса... Было в его лице что-то характерное, ти-

пичное, очень знакомое, но что именно, — я никак не мог ни понять, ни вспомнить.

Он долго молчал и о чем-то думал. Вероятно, после того, как я не оценил его замечания насчет костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердит и не рад его присутствию. Вытащив из кармана колбасу, он повертел ее перед глазами и сказал нерешительно:

— Извините, я вас побеспокою... У вас нет ножика?

Я дал ему нож.

— Колбаса отвратительная, — поморщился он, отрезывая себе кусочек. — В здешней лавочке продают дрянь, но дерут ужасно... Я бы вам одолжил кусочек, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите?

В его «одолжил» и «кушать» слышалось тоже что-то типичное, имевшее очень много общего с характерным в лице, но что именно, я все еще не мог никак понять. Чтобы внушить к себе доверие и показать, что я вовсе не сержусь, я взял предложенный им кусочек. Колбаса действительно была ужасная; чтобы сладить с ней, нужно было иметь зубы хорошей цепной собаки. Работая челюстями, мы разговорились. Начали с того, что пожаловались друг другу на продолжительность службы.

— Здешний устав приближается к афонскому, — сказал я, — но на Афоне обыкновенная всенощная продолжается десять часов, а под большие праздники — четырнадцать. Вот там бы вам помолиться!

— Да! — сказал мой сожитель и покрутил головой. — Я здесь три недели живу. И знаете ли, каждый день служба, каждый день служба... В будни в двенадцать часов звонят к заутрене, в пять часов к ранней обедне, в девять — к поздней. Спать совсем невозможно. Днем же акафисты, правила, вечерни... А когда я говёл, так просто падал от утомления. — Он вздохнул и продолжал: — А не ходить в церковь неловко... Дают монахи номер, кормят, и как-то, знаете ли, совестно не ходить. Оно ничего, день, два, пожалуй, можно постоять, но три недели тяжело! Очень тяжело! Вы надолго сюда?

— Завтра вечером уезжаю.

— А я еще две недели проживу.

— Но здесь, кажется, не принято так долго жить? — сказал я.

— Да, это верно, кто здесь долго живет и объедает монахов, того просят уехать. Судите сами, если позволить пролетариям жить здесь сколько им угодно, то не останется ни одного свободного номера, и они весь монастырь съедят. Это

верно. Но для меня монахи делают исключение и, надеюсь, еще не скоро меня отсюда прогонят. Я, знаете ли, новообращенный.

— То есть?

— Я еврей, выкрест... Недавно принял православие.

Теперь я уже понял то, чего раньше никак не мог понять на его лице: и толстые губы, и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь, и тот особенный маслянистый блеск глаз, который присущ одним только семитам, понял я и «одолжил» и «кушать»... Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Ивановичем, а раньше звали Исааком, что он уроженец Могилевской губернии и в Святые Горы попал из Новочеркасска, где принял православие.

Одолев колбасу, Александр Иванович встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию.

— С самого раннего детства я питал любовь к учению, — начал он таким тоном, как будто говорил не о себе, а о каком-то умершем великом человеке. — Мои родители — бедные евреи, занимаются грошовой торговлей, живут, знаете ли, по-нищенски, грязно. Вообще весь народ там бедный и суеверный, учения не любят, потому что образование, понятно, отдаляет человека от религии... Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотели учить меня, а хотели, чтобы я тоже занимался торговлей и не знал ничего, кроме талмуда... Но всю жизнь биться из-за куска хлеба, болтаясь в грязи, жевать этот талмуд, согласитесь, не всякий может. Бывало, в корчму к папаше заезжали офицеры и помещики, которые рассказывали много такого, чего я тогда и во сне не видел, ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакал и просил, чтобы меня отдали в школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Раз я нашел русскую газету, принес ее домой, чтобы из нее сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по-русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережет свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмущался...

Сказав такую умную фразу, бывший Исаак от удовольствия поднял правую бровь еще выше и поглядел на меня как-то боком, как петух на зерно, и с таким видом, точно хотел сказать: «Теперь наконец вы убедились, что я умный»

человек?» Поговорив еще о фанатизме и о своем непреодолимом стремлении к просвещению, он продолжал:

— Что было делать! Я взял и бежал в Смоленск. А там у меня был двоюродный брат, который лудил посуду и делал жестянки. Понятно, я нанялся к нему в подмастерья, так как жить мне было нечем, ходил я босиком и оборванный... Думал так, что днем буду работать, а ночью и по субботам учиться. Я так и делал, но узнала полиция, что я без паспорта, и отравила меня по этапу назад к отцу...

Александр Иванович пожал одним плечом и вздохнул.

— Что будешь делать! — продолжал он, и чем ярче воскресало в нем прошлое, тем сильнее чувствовался в его речи еврейский акцент. — Родители наказали меня и отдали дедушке, старому еврею-фанатику, на исправление. Но я ночью ушел в Шклов. А когда в Шклове ловил меня мой дядя, я пошел в Могилев; там пробыл два дня и с товарищем пошел в Стародуб.

Далее рассказчик перебрал в своих воспоминаниях Гомель, Киев, Белую Церковь, Умань, Балту, Бендеры и, наконец, добрался до Одессы.

— В Одессе я целую неделю ходил без дела и голодный, пока меня не приняли евреи, которые ходят по городу и покупают старое платье. Я уж умел тогда читать и писать, знал арифметику до дробей и хотел поступить куда-нибудь учиться, но не было средств. Что делать! Полгода ходил я по Одессе и покупал старое платье, но евреи, мошенники, не дали мне жалованья, я обиделся и ушел. Потом на пароходе я уехал в Перекоп.

— Зачем?

— Так. Один грек обещал мне дать там место. Одним словом, до шестнадцати лет ходил я так, без определенного дела и без почвы, пока не попал в Полтаву. Тут один студент еврей узнал, что я желаю учиться, и дал мне письмо к харьковским студентам. Конечно, я пошел в Харьков. Студенты посоветовались и начали готовить меня в техническое училище. И знаете, я вам скажу, студенты мне попались такие, что я не забуду их до самой смерти. Не говорю уж про то, что они дали мне квартиру и кусок хлеба, они поставили меня на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цель жизни. Между ними были умные, замечательные люди, которые уж и теперь известны. Например, вы слышали про Грумахера?

— Нет, не слышал.

— Не слыхали... Писал очень умные статьи в харьковских газетах и готовился в профессора. Ну, я много читал, участвовал в студенческих кружках, где не услышишь пошлостей. Приготовлялся я полгода, но так как для технического училища нужно знать весь гимназический курс математики, то Грумахер посоветовал мне готовиться в ветеринарный институт, куда принимают из шестого класса гимназии. Конечно, я стал готовиться. Я не желал быть ветеринаром, но мне говорили, что кончивших курс в институте принимают без экзамена на третий курс медицинского факультета. Я выучил всего Кюнера, уж читал аливругер¹ Корнелия Непота и по греческому языку прошел почти всего Курциуса, но, знаете ли, то да се... студенты разъехались, неопределенность положения, а тут еще я услышал, что приехала моя мамаша и ищет меня по всему Харькову. Тогда я взял и уехал. Что будешь делать! Но, к счастью, я узнал, что здесь на Донецкой дороге есть горное училище. Отчего не поступить? Ведь вы знаете, горное училище дает права штегера — должность великолепная, а я знаю шахты, где штегера получают полторы тысячи в год. Отлично... Я поступил...

Александр Иваныч с выражением благоговейного страха на лице перечислил дюжины две замысловатых наук, преподаваемых в горном училище, и описал самое училище, устройство шахт, положение рабочих... Затем он рассказал страшную историю, похожую на вымысел, но которой я не мог не поверить, потому что уж слишком искренен был тон рассказчика и слишком откровенно выражение ужаса на его семитическом лице.

— А во время практических занятий какой однажды был со мной случай, — рассказывал он, подняв обе брови. — Был я на одних шахтах тут, в Донецком округе. А вы ведь видели, как люди спускаются в самый рудник. Помните, когда гонят лошадь и приводят в движение ворот, то по блоку одна бадья спускается в рудник, а другая поднимается, когда же начнут поднимать первую, тогда опускается вторая — все равно, как в колодце с двумя ушатами. Ну, сел я однажды в бадью, начинаю спускаться вниз и, можете себе представить, вдруг слышу — тррр! Цепь разорвалась, и я полетел к черту вместе с бадьей и обрывком цепи... Упал с трехсаженной вышины прямо грудью и животом, а бадья, как более тяжелая вещь, упала раньше меня, и я ударился вот этим плечом об ее ребро. Лежу,

¹ с листа, без подготовки (от франц. à livre ouvert).

знаете, огорошенный, думаю, что убится насмерть, и вдруг вижу — новая беда: другая бадья, что поднималась вверх, потеряла противовес и с грохотом опускается вниз прямо на меня... Что будете делать? Видя такой факт, я прижался к стене, съежился, жду, что вот-вот сейчас эта бадья со всего размаха трахнет меня по голове, вспоминаю папашу и мамашу, и Могилев, и Грумахера... молюсь богу, но, к счастью... Даже вспомнить страшно.

Александр Иванович насильно улыбнулся и вытер ладонью лоб.

— Но, к счастью, она упала возле и только слегка зацепила этот бок... Содрала, знаете, с этого бока сюртук, сорочку и кожу... Сила страшная. Потом я был без чувств. Меня вытаскивали и отправили в больницу. Лечился я четыре месяца, и доктора сказали, что у меня будет чахотка. Я теперь всегда кашляю, грудь болит и страшное психологическое расстройство... Когда я остаюсь один в комнате, мне бывает очень страшно. Конечно, при таком здоровье уже нельзя быть штегером. Пришлось бросить горное училище...

— А теперь чем вы занимаетесь? — спросил я.

— Я держал экзамен на сельского учителя. Теперь ведь я православный и имею право быть учителем. В Новочеркасске, где я крестился, во мне приняли большое участие и обещали место в церковно-приходской школе. Через две недели поеду туда и опять буду просить.

Александр Иванович снял пальто и остался в одной сорочке с вышитым русским воротом и с шерстяным поясом.

— Спать пора, — сказал он, кладя в изголовье свое пальто и зевая. — Я, знаете ли, до последнего времени совсем не знал бога. Я был атеист. Когда лежал в больнице, я вспомнил о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможна только одна религия, а именно христианская. Если не веришь в Христа, то уж больше не во что верить... Не правда ли? Иудаизм отжил свой век и держится еще только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснется евреев, то из иудаизма не останется и следа. Вы заметьте, все молодые евреи уже атеисты. Новый завет есть естественное продолжение Ветхого. Не правда ли?

Я стал выведывать у него причины, побудившие его на такой серьезный и смелый шаг, как перемена религии, но он твердил мне только одно, что «Новый завет есть естественное продолжение Ветхого» — фразу, очевидно, чужую и заученную

и которая совсем не разъясняла вопроса. Как я ни бился и ни хитрил, причины остались для меня темными. Если можно было верить, что он, как утверждал, принял православие по убеждению, то в чем состояло и на чем зиждилось это убеждение — из его слов понять было невозможно; предположить же, что он переменял веру ради выгоды, было тоже нельзя: дешевая, поношенная одежка, проживание на монастырских хлебах и неопределенное будущее мало походили на выгоды. Оставалось только помириться на мысли, что переменить религию побудил моего сожителя тот же самый беспокойный дух, который бросал его, как щепку, из города в город и который он, по общепринятому шаблону, называл стремлением к просвещению.

Перед тем как ложиться спать, я вышел в коридор, чтобы напиться воды. Когда я вернулся, мой сожитель стоял среди номера и испуганно глядел на меня. Лицо его было бледно-серо, и на лбу блестел пот.

— У меня ужасно нервы расстроены, — пробормотал он, болезненно улыбаясь, — ужасно! Сильное психологическое расстройство. Впрочем, все это пустяки.

И он опять стал толковать о том, что Новый завет есть естественное продолжение Ветхого, что иудаизм отжил свой век. Подбирая фразы, он как будто старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменяв религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил как человек мыслящий и свободный от предрассудков, и что поэтому он смело может оставаться в комнате один на один со своею совестью. Он убеждал себя и глазами просил у меня помощи...

Между тем на сальной свечке нагорел большой, неуклюжий фитиль. Уже светало. В хмурое, посиневшее окошко видны были уже ясно оба берега Донца и дубовая роща за рекой. Нужно было спать.

— Завтра здесь будет очень интересно, — сказал мой сожитель, когда я потушил свечку и лег. — После ранней обедни крестный ход поедет на лодках из монастыря в скит.

Подняв правую бровь и склонив голову набок, он помолился образу и, не раздеваясь, лег на свой диванчик.

— Да, — сказал он, повернувшись на другой бок.

— Что — да? — спросил я.

— Когда я в Новочеркасске принял православие, моя мама искала меня в Ростове. Она чувствовала, что я хочу переменить веру. — Он вздохнул и продолжал: — Уже шесть

лет как я не был там, в Могилевской губернии. Сестра, должно быть, уже замуж вышла.

Помолчав немного и видя, что я еще не уснул, он стал тихо говорить о том, что скоро, слава богу, ему дадут место, и он наконец будет иметь свой угол, определенное положение, определенную пищу на каждый день... Я же, засыпая, думал, что этот человек никогда не будет иметь ни своего угла, ни определенного положения, ни определенной пищи. Об учительском месте он мечтал вслух, как об обетованной земле; подобно большинству людей, он питал предубеждение к скитальчеству и считал его чем-то необыкновенным, чуждым и случайным, как болезнь, и искал спасения в обыкновенной будничной жизни. В тоне его голоса слышались сознание своей ненормальности и сожаление. Он как будто оправдывался и извинялся.

Не далее как на аршин от меня лежал скиталец; за стенами в номерах и во дворе, около телег, среди богомольцев не одна сотня таких же скитальцев ожидала утра, а еще дальше, если суметь представить себе всю русскую землю, какое множество таких же перекати-поле, ища где лучше, шагало теперь по большим и проселочным дорогам или, в ожидании рассвета, дремало в постоялых дворах, корчмах, гостиницах, на траве под небом... Засыпая, я воображал себе, как бы удивились и, быть может, даже обрадовались все эти люди, если бы нашлись разум и язык, которые сумели бы доказать им, что их жизнь так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая.

Во сне я слышал, как за дверями жалобно, точно заливаясь горячими слезами, прозвонил колокольчик и послушник прокричал несколько раз:

— Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас! Пожалуйте к обедне!

Когда я проснулся, моего сожителя уже не было в номере. Было солнечно, и за окном шумел народ. Выйдя, я узнал, что обедня уже кончилась и крестный ход давно уже отправился в скит. Народ толпами бродил по берегу и, чувствуя себя праздным, не знал, чем занять себя; есть и пить было нельзя, так как в скиту еще не кончилась поздняя обедня; монастырские лавки, где богомольцы так любят толкаться и прицениваться, были еще заперты. Многие, несмотря на утомление, от скуки брели в скит. Тропинка от монастыря до скита, куда я отправился, змеей вилась по высокому крутому берегу то вверх, то вниз, огибая дубы и сосны. Внизу блестел Донец и отражал в себе солнце, вверху белел меловой скалистый берег и ярко зеленела на нем молодая зелень дубов и сосен, которые, нависая друг над другом, как-то ухитряются расти почти на отвесной

скале и не падать. По тропинке гуськом тянулись богомольцы. Всего больше было хохлов из соседних уездов, но было много и дальних, пришедших пешком из Курской и Орловской губерний; в пестрой веренице попадались и мариупольские греки-хуторяне, сильные, степенные и ласковые люди, далеко не похожие на тех своих хилых и вырождающихся единоплеменников, которые наполняют наши южные приморские города; были тут и донцы с красными лампасами, и тавричане, выселенцы из Таврической губернии. Было здесь много богомольцев и неопределенного типа вроде моего Александра Иваныча: что они за люди и откуда, нельзя было понять ни по лицам, ни по одежде, ни по речам.

Тропинка оканчивалась у маленького плота, от которого, прорезывая гору, шло влево к скиту неширокое шоссе. У плота стояли две большие тяжелые лодки, угрюмого вида, вроде тех новозеландских пирог, которые можно видеть в книгах Жюль Верна. Одна лодка, с коврами на скамьях, предназначалась для духовенства и певчих, другая, без ковров — для публики. Когда крестный ход плыл обратно в монастырь, я находился в числе избранных, сумевших протискаться во вторую. Избранных набралось так много, что лодка еле двигалась, и всю дорогу приходилось стоять, не шевелиться и спасать свою шляпу от ломки. Путь казался прекрасным. Оба берега — один высокий, крутой, белый, с нависшими соснами и дубами, с народом, спешившим обратно по тропинке, и другой — отлогий, с зелеными лугами и дубовой рощей, — залитые светом, имели такой счастливый и восторженный вид, как будто только им одним было обьязано майское утро своею прелестью. Отражение солнца в быстро текущем Донце дрожало, расплзлось во все стороны, и его длинные лучи играли на ризах духовенства, на хоругвях, в брызгах, бросаемых веслами. Пение пасхального канона, колокольный звон, удары весел по воде, крик птиц — все это мешалось в воздухе в нечто гармоническое и нежное. Лодка с духовенством и хоругвями плыла впереди. На ее корме неподвижно, как статуя, стоял черный послушник.

Когда крестный ход приближался к монастырю, я заметил среди избранных Александра Иваныча. Он стоял впереди всех и, раскрыв рот от удовольствия, подняв вверх правую бровь, глядел на процессию. Лицо его сияло; вероятно, в эти минуты, когда кругом было столько народу и так светло, он был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью.

Когда немного погода мы сидели в номере и пили чай, он все еще сиял довольством; лицо его говорило, что он доволен и чаем

и мной, вполне ценит мою интеллигентность, но что и сам не ударит лицом в грязь, если речь пойдет о чем-нибудь этаком...

— Скажите, какую бы мне почитать психологию? — начал он умный разговор, сильно морща нос.

— А для чего вам?

— Без знания психологии нельзя быть учителем. Прежде чем учить мальчика, я должен узнать его душу.

Я сказал ему, что одной психологии мало для того, чтобы узнать душу мальчика, и к тому же психология для такого педагога, который еще не усвоил себе технических приемов обучения грамоте и арифметике, является такою же роскошью, как высшая математика. Он охотно согласился со мной и стал описывать, как тяжела и ответственна должность учителя, как трудно искоренить в мальчике склонность к злу и суеверию, заставить его мыслить самостоятельно и честно, внушить ему истинную религию, идею личности, свободы и проч. В ответ на это я сказал ему что-то. Он опять согласился. Вообще он очень охотно соглашался. Очевидно, все «умное» непрочно сидело в его голове.

До самого моего отъезда мы вместе слонялись около монастыря и коротали длинный жаркий день. Он не отставал от меня ни на шаг; привязался ли он ко мне, или же боялся одиночества, бог его знает! Помню, мы сидели вместе под кустами желтой акации в одном из садиков, разбросанных по горе.

— Через две недели я уйду отсюда, — сказал он. — Пора!

— Вы пешком?

— Отсюда до Славянска пешком, потом по железной дороге до Никитовки. От Никитовки начинается ветвь Донецкой дороги. По этой ветви я до Хацпетовки дойду пешком, а там дальше провезет меня знакомый кондуктор.

Я вспомнил голую, пустынную степь между Никитовкой и Хацпетовкой и вообразил себе шагающего по ней Александра Иваныча с его сомнениями, тоской по родине и страхом одиночества... Он прочел на моем лице скуку и вздохнул.

— А сестра, должно быть, уже замуж вышла — подумал он вслух и тотчас же, желая отвязаться от грустных мыслей, указал на верхушку скалы и сказал:

— С этой горы Изюм видно.

Во время прогулки по горе с ним случилось маленькое несчастье: вероятно, спотыкнувшись, он порвал свои сарпниковые брюки и сбил с башмака подошву.

— Тс... — поморщился он, снимая башмак и показывая босую ногу без чулка. — Неприятно... Это, знаете ли, такое осложнение, которое... Да!

Вертя перед глазами башмак и как бы не веря, что подошва погибла навеки, он долго морщился, вздыхал и причмокивал. У меня в чемодане были полуштилеты старые, но модные, с острыми носами и тесемками; я брал их с собою на всякий случай и носил только в сырую погоду. Вернувшись в номер, я придумал фразу поддипломатичнее и предложил ему эти полуштилеты. Он принял и сказал важно:

— Я бы поблагодарил вас, но знаю, что вы благодарность считаете предрассудком.

Острые носы и тесемки полуштилетов растрогали его, как ребенка, и даже изменили его планы.

— Теперь я пойду в Новочеркасск не через две недели, а через неделю, — размышлял он вслух. — В таких башмаках не совестно будет явиться к крестному папаше. Я, собственно, не уезжал отсюда потому, что у меня приличной одежды нет...

Когда ящик выносил мой чемодан, вошел послушник с хорошим насмешливым лицом, чтобы подмести в номере. Александр Иваныч как-то заторопился, сконфузился и робко спросил у него:

— Мне здесь оставаться или в другое место идти?

Он не решался занять свою особую целый номер и, по-видимому, уже стыдился того, что жил на монастырских хлебах. Ему очень не хотелось расставаться со мной; чтобы по возможности отдалить одиночество, он попросил позволения проводить меня.

Дорога из монастыря, прорытая к меловой горе и стоившая немалых трудов, шла вверх, в объезд горы почти спирально, по корням, под нависшими суровыми соснами... Сначала скрылся с глаз Донец, за ним монастырский двор с тысячами людей, потом зеленые крыши... Оттого, что я поднимался, все казалось мне исчезающим в яме. Соборный крест, раскаленный от лучей заходящего солнца, ярко сверкнул в пропасти и исчез. Остались одни только сосны, дубы и белая дорога. Но вот коляска въехала на ровное поле, и все это осталось внизу и позади; Александр Иваныч спрыгнул и, грустно улыбувшись, взглянув на меня в последний раз своими детскими глазами, стал спускаться вниз и исчез для меня навсегда...

Святогорские впечатления стали уже воспоминаниями, и я видел новое: ровное поле, беловато-бурую даль, рощицу у дороги, а за нею ветряную мельницу, которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей не позволяют махать крыльями.

СТЕПЬ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ

(фрагмент)

999

В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоянным двором, хотя возле него никакого двора не было и стоял он посреди степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами, склонив свои тяжелые головы, стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи.

Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса — один мужской, другой женский — завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоянного двора Мойсей Мойсеич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами, точно крыльями, всякий раз, как Мойсей Мойсеич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны навыпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов.

Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

— Ах, боже мой, боже мой! — заговорил он тонким, певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. — И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я таперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!

Мойсей Мойсеич, шаря в бричке и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь:

— Соломон! Соломон!

— Соломон, Соломон! — повторил в доме женский голос.

Дверь на блоке завизжала, и на пороге показался невысокий молодой еврей, рыжий, с большим птичьим носом и с плешью среди жестких, кудрявых волос; одет он был в короткий очень поношенный пиджак, с закругленными фалдами и с короткими рукавами, и в короткие триковые брючки, отчего сам казался коротким и кургузым, как ошипанная птица. Это был Соломон, брат Мойсея Мойсеича. Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке.

— Иван Иваныч и отец Христофор приехали! — сказал ему Мойсей Мойсеич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. — Ай, вай, удивительное дело, такие хорошие люди взяли да приехали! Ну, бери, Соломон, вещи! Пожалуйте, дорогие гости!

Немного погодя Кузьмичов, о. Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой да трех стульев, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякий решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульям спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной. Стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения (думалось, что их пробил каблуком все тот же силач), и, казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп,

то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшения. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой, в такой же раме, какая-то гравюра с надписью: «Равнодушие человек». К чему человеки были равнодушны, — понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засажена мухами. Пахло в комнате чем-то затхлым и кислым.

Введя гостей в комнату, Мойсей Мойсеич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать — все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным.

— Когда проехали тут наши подводы? — спросил его Кузьмичов.

— Одна партия проехала нынче утречком, а другая, Иван Иваныч, отдыхала тут в обед и перед вечером уехала.

— А... Проезжал тут Варламов или нет?

— Нет, Иван Иваныч. Вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он надо быть, таперишка на хуторе у молокана.

— Отлично. Значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к молокану.

— Да бог с вами, Иван Иваныч! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, бог даст, утречком поедете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. Посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнул Мойсей Мойсеич. — Да побойтесь вы бога, Иван Иваныч! Вы меня заставите, чтоб я ваши шапке спрятал и запер на замок дверь! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда нам с чаями да с сахарами, — сказал Кузьмичов.

Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять:

— Иван Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня нельзя даже чай пить? Иван Иваныч!

— Что ж, чайку можно попить, — сочувственно вздохнул о. Христофор. — Это не задержит.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичов. Мойсей Мойсеич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он

только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал диким придушенным голосом, каким раньше звал Соломона:

— Роза! Роза! Давай самовар!

Через минуту отворилась дверь, и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху. Его длинный нос, жирные губы и хитрые, выпученные глаза, казалось, были напряжены от желания расхохотаться. Взглянув на его лицо, Кузьмичов насмешливо улыбнулся и спросил:

— Соломон, отчего же ты этим летом не приезжал к нам в N. на ярмарку жидов представлять?

Года два назад, что отлично помнил и Егорушка, Соломон в N. на ярмарке, в одном из балаганов, рассказывал сцены из еврейского быта и пользовался большим успехом. Напоминание об этом не произвело на Соломона никакого впечатления. Ничего не ответив, он вышел и немного погодя вернулся с самоваром.

Сделав около стола свое дело, он пошел в сторону и, скрестив на груди руки, выставив вперед одну ногу, уставился своими насмешливыми глазами на о. Христофора. В его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое, потому что чем внушительнее становилась его поза, тем ярче выступали на первый план его короткие брючки, куцый пиджак, карикатурный нос и вся его птичья, оципанная фигурка.

Мойсей Мойсеич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола.

— Приятного аппетита! Чай да сахар! — начал он занимать гостей.— Кушайте на здоровьечко. Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять годов не видал. И никто не хочет мне сказать, чей это такой паничок хороший? — спросил он, нежно поглядывая на Егорушку.

— Это сынок сестры Ольги Ивановны,— ответил Кузьмичов.

— А куда же он едет?

— Учиться. В гимназию его везем.

Мойсей Мойсеич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой.

— О, это хорошо! — сказал он, грозя самовару пальцем.— Это хорошо! Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы

будем шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. О, это хорошо!

Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно-шутливом тоне:

— Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать.

— Да, вздумал вот на старости лет... — сказал о. Христофор и засмеялся. — Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице... Суета!

— Зато грошей будет много!

— Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зятя Михайлы!

— Отчего же он сам не поехал?

— А оттого... Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтоб продать — ума нет, молод еще. Все деньги свои потратил, хотел нажитья и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и — «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость! Ничего я в этих делах не понимаю!» То-то вот и есть. Как что, так сейчас и папаша, а прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь, как приспичило, так и папаша. А что папаша? Коли б не Иван Иванович, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними!

— Да, хлопотно с детьми, я вам скажу! — вздохнул Мойсей Мойсеич. — У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот. Не только таперичка, даже в священном писании так было. Когда у Иакова были маленькие дети, он плакал, а когда они выросли, еще хуже стал плакать!

— М-да... — согласился о. Христофор, задумчиво глядя на стакан. — Мне-то, собственно, нечего бога гневить, я достиг предела своей жизни, как дай бог всякому... Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучат радуюсь да богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было, и теперь ежели б, скажем, царь спросил: «Что тебе надобно? Чего хочешь?» Да ничего мне не надобно! Все у меня есть и все слава богу. Счастливей меня во

всем городе человека нет. Только вот грехов много, да ведь и то сказать, один бог без греха. Ведь верно?

— Стало быть, верно.

— Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да се... одышка и всякое там... Болею, плоть немощна, ну, да ведь, сам посуди, пожил! Восьмой десяток! Не век же вековать, надо и честь знать.

Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Мойсей Мойсеич из приличия тоже засмеялся и закашлялся.

— Потеха! — сказал о. Христофор и махнул рукой. — Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах... Хорошо-с... Я ему и говорю: «Вот, говорю, одышка, то да се... Ты доктор, лечи отца!» Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки... живот помял, потом и говорит: «Вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом».

Отец Христофор захохотал судорожно, до слез и поднялся.

— А я ему и говорю: «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. — Бог с ним, с этим сжатым воздухом!

Мойсей Мойсеич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай болонки.

— Бог с ним, с этим сжатым воздухом! — повторил о. Христофор хохоча.

Мойсей Мойсеич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.

— О боже мой... — стонал он среди смеха. — Дайти вздохнуть... Так насмешили, что... ох!... — смерть моя.

Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно, но это так не шло к его ощипанной фигурке, что, казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое, презрительное выражение придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей.

Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичов расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек.

— Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем, — сказал Кузьмичов.

Увидев деньги, Мойсей Мойсеич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.

— В рублевых пачках по сколько? — начал о. Христофор.

— По пятьдесят... В трехрублевых по девяносто... Четвертные и сторублевые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую о. Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников; теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтоб не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее.

— Ах, деньги, деньги! — вздыхал о. Христофор, улыбаясь. — Горе с вами! Теперь мой Михайло небось спит и видит, что я ему такую кучу привезу.

— Ваш Михайло Тимофеич человек непонимающий, — говорил вполголоса Кузьмичов, — не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить. Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения...

— Нет, Иван Иванович, — вздыхал о. Христофор. — Благодарим вас за внимание... Конечно, ежели б моя воля, я б и разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой...

Вошел на цыпочках Мойсей Мойсеич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.

— А пойдем-ка, паничок, — сказал он вполголоса, — какого я тебе медведика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Мойсеем Мойсеичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где, прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комодѣ горела сальная свечка.

Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками; она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи, точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом.

— Кушай, детка, кушай! — сказала она. — Ты здесь без маменьке, и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Мойсей Мойсеич и еврейка глядели и вздыхали.

— Ты куда едешь, детка? — спросила еврейка.

— Учиться, — ответил Егорушка.

— А сколько вас у маменьке?

— Я один. Больше нету никого.

— А-ох! — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. — Бедная маменьке, бедная маменьке! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученье своего Наума! Ох!

— Ах, Наум, Наум! — вздохнул Мойсей Мойсеич, и на его бледном лице нервно задрожала кожа. — А он такой больной.

Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Мойсей Мойсеич говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ту-ту-ту-ту...». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка

на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.

— Гал-гал-гал-гал... — говорил Мойсей Мойсеич.

— Ту-ту-ту-ту... — отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.

— Возьми, детка, — сказала она, подавая Егорушке пряник. — У тебя теперь нету маменьке, некому тебе гостинца дать.

Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобней примостился на диване и уж не мешал себе думать.

Кузьмичов только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам..

Отец Христофор беседовал с Соломоном.

— Ну что, Соломон премудрый? — спрашивал он, зевая и крестя рот. — Как дела?

— Это вы про какие дела говорите? — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

— Вообще... Что поделываешь?

— Что я поделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами. — То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаку, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

Отец Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. — Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!

Немного погодя Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон, голосом глухим и сильным от душившейся его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях; сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.

— Постой... — перебил его о. Христофор. — Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени, а смеяться грех; тот последний человек, кто над своей верой глумится.

— Вы ничего не понимаете! — грубо оборвал его Соломон. — Я вам говорю одно, а вы другое...

— Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, — вздохнул о. Христофор. — Я тебя наставляю, как умею, а ты сердисься. Я тебя по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: блаблабла! Чудак, право...

Вошел Мойсей Мойсеич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя; мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти и когда тень от его длинного носа пересекла всю левую щеку; презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие, насмешливые глаза, надменная выражение и вся его оципанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вероятно на нечистого духа.

— Какой-то он у вас бесноватый, Мойсей Мойсеич, бог с ним! — сказал с улыбкой о. Христофор. — Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли... На человека не похож...

Кузьмичов сердито нахмурился. Мойсей Мойсеич опять встревоженно и пылливо поглядел на брата и на гостей.

— Соломон, выйди отсюда! — строго сказал он. — Выйди!

И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.

— А что такое? — испуганно спросил Мойсей Мойсеич о. Христофора.

— Забывается, — ответил Кузьмичов. — Грубияк и много о себе понимает.

— Так и знал! — ужаснулся Мойсей Мойсеич, всплескивая руками. — Ах, боже мой! Боже мой! — забормотал он вполголоса. — Уж вы будьте добрые, извините и не сердчайте. Это такой человек, такой человек! Ах, боже мой! Боже мой! Он мне родной брат, но, кроме горя, я от него ничего не видел. Ведь он, знаете...

Мойсей Мойсеич покрутил пальцем около лба и продолжал:

— Не в своем уме... пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю! Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится... Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такое ему сказал, что тот ударил кнутом и его и мене... А мене за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это божья воля, а я разве виноват?

Прошло минут десять, а Мойсей Мойсеич все еще бормотал вполголоса и вздыхал:

— Ночью он не спит и все думает, думает, думает, а о чем он думает, бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит... И ничего он не хочет! Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился и таперичка деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко! Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне, а зачем же палить?

Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза... Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. О. Христофор, держа ширококолый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Мойсей Мойсеич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон как ни в чем не бывало стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.

— Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто! — стонал Мойсей Мойсеич с мучительно-сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. — Мы люди простые, ваше сиятельство!

Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме.

— Проезжал здесь сегодня Варламов? — спросил женский голос.

— Нет, ваше сиятельство! — ответил Мойсей Мойсеич.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку.

Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло.

— Какой хорошенький мальчик! — сказала дама. — Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый...

И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги: кто-то входил и выходил.

— Егорушка! Егорушка! — раздался густой шепот двух голосов. — Вставай, ехать!

Кто-то, кажется Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку; на пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы.

— Тпрр! — донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться; он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.

— Графиня Драницкая, — прошептал о. Христофор, полая в бричку.

— Да, графиня Драницкая, — повторил Кузьмичов тоже шепотом.

Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоянного двора виден уж был один только тусклый огонек.

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то — Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство.

Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид

с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придираться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:

— Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.

Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.

Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей

тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.

— Яков! — позвала Марфа неожиданно. — Я умираю!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что, наконец, уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.

— Здравия желаем, — сказал Яков, вводя старуху в приемную. — Извините, все беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяшными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение...

Нахмутив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Так... — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. — Инфлуэнца, а может, и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава богу... Сколько ей?

— Да без года семьдесят, Максим Николаич.

— Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич, — сказал Яков, улыбаясь из вежливости, — и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. — Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А засим до свиданция, бонжур.

По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:

— Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с богом. До свиданция.

— Сделайте такую милость, — взмолился Яков. — Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело — кровь гнать, Максим Николаич.

А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.

— Ступай, ступай... — сказал он Якову, хмурясь. — Нечего тень наводить.

— В таком случае поставьте ей хоть пьевки! Заставьте вечно бога молить!

Фельдшер вспылил и крикнул:

— Поговори мне еще! Ддубина...

Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж сядились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:

— Насажали вас тут, артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьевки пожалел. Ироды!

Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со ску-

кой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а наверное, Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.

Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:

«Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.».

И вздохнул. Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно. — Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели... под вербой. — И, горько усмехнувшись, она добавила: — Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебе мерещится, — сказал он.

Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.

Старухи соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что все так честно, благоприсстойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа!»

Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь,

варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать и все это молча, с робким, заботливым выражением.

Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.

— А я вас ищу, дяденька! — сказал он. — Кланялись вам Мойсей Ильич и велели вам зараз приходить к ним.

Якову было не до того. Ему хотелось плакать.

— Отстань! — сказал он и пошел дальше.

— А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед. — Мойсей Ильич будут обижаться! Они велели зараз!

Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков. — Не приставай!

Жид рассердился и тоже крикнул:

— Но ви, пожалуста, потише, а то ви у меня через забор полетите!

— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!

Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: «Жид! Жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки лаяли громче и дружнее... Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут с писком носились кулики, крикали утки. Солнце сильно припекало и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков;

увидев его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенец с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.

Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы все вместе — и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку, впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь

от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.

Вечером и ночью мерещился ему младенец, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.

Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Все на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.

Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть от страха, стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.

— Подойди, ничего, — сказал ласково Яков и поманил его к себе. — Подойди!

Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.

— А вы, сделайте милость, не бейте меня! — сказал он, приседая.— Меня Мойсей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба... Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего целовека. И швадьба будет богатая, у-у! — добавил жид и прищурил один глаз.

— Не могу... — проговорил Яков, тяжело дыша. — Захворал, брат.

И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.

И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо, — ответил батюшка.

И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!..» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.

СНУДЕНН

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки стусились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая

далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад,— сказал студент, подходя к костру.— Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой,— сказала она.— Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только шурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр,— сказал студент, протягивая к огню руки.— Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на двенадцати евангелиях?

— Была,— ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха

заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошрое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

ПРИЗРАК «БЕЛОЙ ДАЧИ»

(Об Исааке Альтшуллере)

Известный врач-фтизиатр Исаак Альтшуллер, основавший вместе с Моисеем Кранцфельдом и другими специалистами первое в России общество по борьбе с туберкулезом, с конца 1898 г. стал лечащим врачом Антона Чехова.

Вскоре Чехов познакомился с его женой Марией Абрамовной и детьми Львом, Катей, Володей и Гришей, и Альтшуллеры стали еще одной близкой ему еврейской семьей. В записанных А.Лессом воспоминаниях Льва рассказывается о том, как сердечно относился Чехов к детям Альтшуллера, радушно принимал их у себя, угощал, гулял с ними, подарил им иллюстрированное издание «Каштанки», бережно хранил у себя их фотографию (она и сейчас находится в чеховском кабинете на «белой даче»).

После смерти Антона Исаак Альтшуллер и его дети сохранили самые теплые отношения с Марией Чеховой. У нее же они познакомились с гениальным актером Михаилом Чеховым, племянником Антона, но крушение империи и Октябрьский переворот разделили их всех.

В 1917 г. Исаак Альтшуллер уехал в Германию. Позднее он переехал в Прагу, а когда в Европе вспыхнула война, с сыном Григорием переселился в США, где к тому времени уже обосновались его сын Владимир и дочь Катя. В России из их большой семьи оставался только сын Лев, работавший в Госиздате.

Но куда бы ни заносила жизнь Исаака Альтшуллера и его детей, одним из тайных центров их семейного мира оставалась чеховская «белая дача» в Ялте, и об этом говорят их письма к «Ма-Па» — Марии Чеховой, сохранившиеся в ее архиве.

«И скамейка, и сад, и вход в нижний этаж, и вообще ведь каждый кусочек сада поднимает рой воспоминаний, самых для меня дорогих»;

«...шаг за шагом обошел все комнаты и заглянул во все закоулки... А потом поднялся в светелку и вышел на балкон»;

«Если бы Вы знали, как часто я бываю у Вас на даче и представляю себе Вас...»

Все это — слова из писем Исаака Альтшуллера Марии Чеховой из Берлина, написанные в 1929 г. и вызванные постоянно возникавшими в его сознании видениями «белой дачи» и воспоминаниями о встречах с Антоном и Марией.

«Милая Ма-Па! <...> Как бы хотелось посидеть с Вами в милом домике, с которым столько связано детских воспоминаний» — это из письма Кати, отправленного из Нью-Йорка в 1946 г.

Трижды Исаак Альтшуллер обращался к воспоминаниям о Чехове. Свои первые заметки он опубликовал в России в газете «Русские ведомости» в 1914 г., в год десятилетия со дня смерти Чехова. Затем еще через пятнадцать лет он написал более полные воспоминания, появившиеся в Париже в журнале «Современные записки» (1930 г.) и перепечатанные в Москве в сборнике «А.П. Чехов в воспоминаниях современников» (1960 и 1986 гг.). Тем не менее спустя еще несколько лет Исаак Альтшуллер вернулся к работе над своими записками. Эту последнюю редакцию своих мемуаров он озаглавил «Еще о Чехове», и в год его смерти они увидели свет в книге IV «Нового журнала» в Нью-Йорке (1943 г.). В бывшем СССР они были напечатаны лишь однажды в сугубо научном издании («Литературное наследство», т. 68, 1960 г.) и практически неизвестны читателям.

Лео Яковлев

Исаак Альштыулов

ЕЩЕ О ЧЕХОВЕ

Мне приходилось уже делиться отрывками своих воспоминаний о Чехове в печати, в последний раз в 1930 году, по случаю исполнившегося двадцатипятилетия со дня его смерти. Сестра Чехова, Мария Павловна, писала мне тогда: «Воспоминания о брате пишите обязательно; вы должны это сделать». Как единственный в сущности врач, наблюдавший в последние 5–6 лет (а раньше ведь он вообще не лечился) течение его болезни, как человек, имевший при этом возможность наблюдать многое, обычно от постороннего глаза скрытое, я и сам чувствовал, что на мне лежит долг рассказать об этой части моих воспоминаний, но тогда, в 1930 году, я по разным соображениям считал неудобным подробно на этом останавливаться. В настоящее время я хочу это сделать, изложить историю его болезни и ее связь с событиями последних лет его жизни. Позволю себе и здесь рассказать о начале нашего с ним знакомства, так как оно наложило известный отпечаток и на наши дальнейшие отношения.

В конце сентября 1898 года я, спасаясь от гнилой северной осени, приехал на короткое время в Ялту, которой раньше не знал. Здесь я познакомился с доктором С. Я. Елпатьевским, который только незадолго перед этим переселился окончательно из Нижнего Новгорода в Ялту, строил себе, как говорил Чехов, «с аппетитом» дачу и был влюблен в южный берег Крыма. Он очень красноречиво и настойчиво доказывал необходимость и мне покинуть север и в подкрепление своих доводов сообщил, что вот и Чехов приехал недавно и уже решил перекочевать сюда. И вот как-то, когда мы проходили через городской сад, Елпатьевский увидел на одной из скамеек Чехова, подошел к нему, познакомил нас, затем вскоре ушел, и мы остались вдвоем. Разговорились, и выяснилось, что мы в некотором роде товарищи по несчастью. У Чехова, как известно, туберкулез легких был, так сказать, официально

констатирован весной 1897 года, и следующую осень и зиму он провел в Ницце. Поздней весной того же, 1897 года, заболел остро и я, продолжал работать, но осенью был в довольно скверном состоянии отвезен в Ментону. Значительно уже поправившись, я познакомился с наезжавшим в Ментону из Ниццы вице-консулом Юрасовым, питавшим большую слабость к литературе и литераторам, необыкновенно сердечным и милым старичком; и вот он меня все уговаривал переехать из скучной Ментоны в Ниццу, где имеется Pension russe «с настоящим русским самоваром и настоящей кулебякой», а главное — в этом пансионе проживает и необыкновенно интересный, веселый и прекрасный писатель А. П. Чехов. Было это очень соблазнительно, но не укладывалось в намеченный мною план лечения и занятий, и видеть Чехова тогда мне так и не пришлось. И вот теперь, оба опять спасаясь от северной осени, мы встретились. Выяснилось также, что у нас много общих приятелей и друзей среди земских, главным образом, московских врачей. Случилось так, что на следующий же день приехал в отпуск один из них, известный земский врач И.И. Орлов, и как-то вышло, что, ничем не занятые, стали мы втроем проводить значительную часть дня вместе. Осень в тот год выдалась исключительная даже для Крима. Чехов был в прекрасном настроении, в каком никогда потом я его уже не видел. Ему было 38 лет; он тогда имел еще довольно бодрый вид и, несмотря на то, что ходил несколько сторбившись, в общем представлял стройную фигуру. Только намечавшиеся складки у глаз и углов рта, порой утомленный взгляд и, главное, на наш врачебный глаз заметная одышка, особенно при небольших даже подъемах, обусловленная этой одышкой степенная медленная походка и предательский кашель говорили о наличии недуга. Тщательно избегал говорить о последнем только сам больной. Он тогда очень много рассказывал о своем детстве; вспоминал гимназические и студенческие годы, жизнь в Таганроге, особенно тепло говорил про покойного брата художника Николая. Рассказывал про начало своего писательства и как тогда, вначале, легко писалось: «Бывало стынешь на лестнице в купальне, рассказец и напишешь, а потом по дороге его в почтовый ящик опустишь». Рассказывал о встречах с разными писателями, о жизни в его усадьбе Мелихове и т. д. При этом воодушевлялся, лучистые глаза весело искрились, правый указательный палец непрерывно расправлял правый ус, и рассказ часто прерывался его характерным смехом. Время от времени делалась пауза, чтобы

сделать два-три глотательных движения для подавления позывов на кашель, так как кашлять и при нас не полагалось.

Приняв решение переселиться в Ялту окончательно, он приступил к постройке дачи на приобретенном участке. В значительной мере под влиянием Чехова придя, в конце концов, также к заключению о необходимости покинуть север, я снял в Ялте квартиру, и так как раньше конца года семья моя не могла переехать, то Чехов перебрался на время ко мне.

С первого же дня нашего знакомства я поддался его обаянию и крепко к нему привязался. Когда по приезде в Торжок для ликвидации своих дел я рассказывал о нем моим товарищам и друзьям, то они, смеясь, утверждали, что это у меня «курортное увлечение». Помню, я и сам вначале старался разобраться, не играет ли в этом увлечении роль некоторый гипноз от близкого общения с писателем, популярность которого тогда была уже велика и все возрастала, однако вскоре убедился, что обаяние его личности основано было исключительно на редких качествах его души и оригинального блестящего ума. И в последующие шесть лет, до самой его смерти, находясь в постоянном общении с ним, я ни разу не имел повода усомниться в правильности этого заключения.

Я имел возможность в разное время близко наблюдать отношение к Чехову многих тогдашних и уже известных и только начинающих писателей. Я уже в другом месте отметил совершенно исключительное, я бы сказал нежное отношение Л. Н. Толстого к Антону Павловичу, как ни к кому другому из писателей, притом не только как к художнику, но и как к человеку. Но и старый, хворый, сильно сдавший и раздражительный Станюкович, с нескрываемым пренебрежением и даже враждебностью относившийся к младшему поколению писателей; и оригинальный, красочный Мамин-Сибиряк, тоже очень критически относившийся к некоторым выдвинувшимся молодым «мелкопитающим миазмам», и Короленко, и народник, врач, писатель и публицист, деликатный, но очень строгий и принципиальный в вопросах общественных и моральных Елпатьевский, и только что из Н.-Новгорода в большой свет пустившийся и сразу вознесенный Горький; и Бунин; и жизнерадостный Потапенко, и только что появившийся и жадно упивавшийся новой жизнью Куприн; и железнодорожный инженер, очаровательный рассказчик и собеседник Гарин-Михайловский, и Чириков, и Скиталец, и Вересаев — все эти столь различные по духовному облику и по политическим тяготениям люди поддавались обаянию

личности Чехова и как-то особенно почтительно и бережно держались по отношению к нему. Конечно, тут играли роль и его уже всеми признанный талант (хотя ведь и среди писателей профессиональная ревность — явление не редкое), и в известной степени его болезнь, но прежде всего это была невольная дань его моральному облику человека необыкновенно доброго, тонкого, чуткого, с грустью и незлобивым юмором, неотразимо к себе привлекавшего. Доброта его, желание быть чем-нибудь полезным, помочь в мелочах и в крупном были совершенно исключительны.

В годы нашего общения Чехов был вообще, особенно с людьми мало знакомыми, мало разговорчив; замечалась какая-то особенная сдержанность в его манере, какая-то настроенность. Но ко всем одолевавшим его посетителям относился он одинаково внимательно, и я часто поражаюсь его выдержке и терпению. Он одинаково терпел и от незадачливого сочинителя в лице захоlustного фельдшера, специально приехавшего посоветоваться с ним, так как «вы ведь нашего медицинского персонала», и от вновь назначенного начальника главного тюремного управления Саломона, посетившего его для обмена мнениями по поводу предположенной им реформы Сахалинской тюрьмы, просидевшего полдня, но о каторге только вскользь упомянувшего, а с увлечением говорившего о литературе, читавшего наизусть стихи, в том числе и латинские из «Энеиды». А у Чехова в это время была очень срочная работа. Ему приходилось много времени тратить на прочтение присылаемых рукописей; и к этому он относился чрезвычайно добросовестно и всегда отвечал авторам. Я не знал ни одного писателя, который бы так сердечно и доброжелательно относился к товарищам по перу, как Чехов, и искренне приветствовал появление всякого нового таланта, всякой новой талантливой, по его мнению, вещи, и всегда спешил поделиться своим открытием. Известно, как он сразу высоко оценил Горького, и еще до личного знакомства вступил с ним в переписку, хотя и отметил, что это «залихватский, несдержанный талант, что в нем нет грации и что он некоторых своих героев никогда в жизни не видал», но был уверен, что это пройдет, что он от этого отделается. Известно, как он уговаривал его писать пьесы, как давал ему практические в этом отношении указания и советы и какое участие принимал в устройстве его пьес в Художественном театре.

Он любил делиться впечатлениями от прочитанного. Определения его часто заканчивались меткой, образной харак-

теристикой. Как-то я застал его за чтением нового рассказа Елпатьевского, к которому он вообще относился очень хорошо. «Ну что, нравится вам?» — «Хорошо, это вообще хорошо, что он пишет, тяжеленько и все-таки хорошо. Знаете, как тарантас: тряско и неудобно, а по нашим дорогам без него никак нельзя». Потом, помолчав немного, прибавил: «Вот только жаль, что про любовь ему писать нельзя, а без любви писать рассказы трудно». И на мой вопросительный взгляд закончил: «Жена про любовь не позволит» (конечно, не в жене тут было дело). И в литературных произведениях, как и в жизни, он не выносил фальши и иногда говорил: «Очень хорошо написано, только выдуманно, не видел он этого никогда».

Только оставаясь в кругу близких, людей ему приятных, и когда он бывал в хорошем настроении, и в период лучшего физического самочувствия, он выходил из своей замкнутости, вел длинные оживленные беседы на самые разнообразные темы, шутил, смеялся своим особым, чеховским, заразительным смехом. Но и тут всегда чувствовалось, что всех даже близких людей он держал на некотором расстоянии от себя, за некоторым барьером, куда никто не допускался. И в этом смысле я согласен с И. А. Буниным, что «никогда ни с кем не был он дружен по-настоящему». Поэтому, когда читаю о его особенной «крепкой и нежной» любви к кому-нибудь, то думаю, что это понимать нужно очень условно.

При всем его добродушии были, однако, категории людей, которых он выносил с трудом; сюда прежде всего относились репортеры. Во время моей отлучки на север для ликвидации своих дел я в московской газете прочитал о тяжком заболевании Чехова, очень встревожился, но, приехав в Ялту, нашел его в прежнем состоянии. Он, негодуя, рассказал мне следующее. За неделю до моего отъезда, когда он еще жил у меня, как-то раз рано утром, когда мы еще не вставали, раздался стук в дверь (прислуга куда-то ушла), и на наш вопрос выяснилось, что пришли две дамы приглашать Чехова участвовать в благотворительном литературном вечере. Он, чтобы отвязаться, в щелку двери объяснил, что должен отказаться из-за недавно бывшего у него кровохарканья. «И вот, — продолжал Чехов, — барыня рассказала знакомому, прибавив «частые» кровохарканья; знакомый телеграфировал в одесскую газету, где прибавили кашель; петербургские «Новости» перепечатали телеграмму, прибавив лихорадку; московские «Новости дня» — «мучительный кашель» и т.д., и вот представьте себе дома встревожились и вышло безобразие. Говорил же я вам,

что одесские репортеры ужасные люди». — «Но позвольте, причем же одесские репортеры в прибавках столичных газет?» — «Вы уж поверьте мне, я их знаю, это все одесские репортеры». «Одесские репортеры» имели, по-видимому, в его устах особый, символический смысл.

Очень много писалось о равнодушии Чехова к общественным вопросам, о его «холодной крови». Как-то, рассказав о прочитанной статье Михайловского, где указывалось, что он, Чехов, вступил в новый, третий период, он комически развел руками и прибавил: «Да, то совсем не было периодов, а теперь вдруг три». Но даже и в этом третьем периоде, когда самые строгие критики не находили уже, что «даром (понимать надо в общественном смысле. — И.А) пропадает такой талант», в эти последние годы его жизни приходилось иногда наблюдать в отношениях к нему некоторых левых писателей и общественников какую-то, правда очень сдержанную, но все-таки снисходительность. Если это было курьезно и тогда, то совсем непонятно через 25 лет после его смерти в посвященной ему очень теплой статье П. Б. Струве читать как основное положение, что «миросозерцание Чехову не было дано». Я Чехова знал в его «третьем периоде», как человека с очень определенным миросозерцанием, но оно не родилось в этот третий период. Конечно, Чехов по натуре своей совершенно не был активным борцом, он сам неоднократно это повторял, и я не могу себе никак представить его, например, активным членом какой-нибудь политической партии. Он был для этого, между прочим, и слишком большим скептиком. Чехов и не принадлежал также к тем, которые уже с гимназической скамьи приобщаются к общественным интересам. Этому не способствовала и среда, в которой он вырос, и условия жизни. Детские и юношеские годы он провел в Таганроге. Домашняя обстановка была во многом тяжелая; отец заставлял сыновей, в том числе и Антона, петь на клиросе, заменять его в мелочной лавке, и главное, бил и часто порол их, и этого последнего Антон Павлович никогда не мог забыть и простить. В конце концов отец разорился, семья переехала в Москву, а Антон Павлович остался в Таганроге репетитором у нового владельца их дома. Когда по окончании гимназии он приехал в Москву и, благодаря таганрогской стипендии, поступил в университет, то застал семью в крайней бедности. И он, и его брат, художник Николай, своими грошовыми гонорарами в «Стрекозе», «Будильнике», «Зрителе» должны были ее содержать. В редакциях этих тогдашних юмористических жур-

налов, где он проводил и все свое свободное от занятий время, менее всего занимались общественными вопросами. Но вот, будучи уже на последнем курсе, он проводит летние каникулы у брата Ивана в Воскресенске Звенигородского уезда, где тот учителствует, соприкасается здесь впервые с незнакомой до того средой, преимущественно земской, и в частности земско-медицинской, и его общественные интересы и симпатии получают совершенно определенный уклон. Этими новыми настроениями вызвана была, несомненно, в значительной степени и его поездка в 1890 году на Сахалин, по его определению, «место невыносимых страданий, где мы сгноили в тюрьмах миллионы людей». А в мелиховский период (Мелихово приобретено было в 1892 г.) он принимает деятельное участие в местной земской и общественной жизни. Едет на голод в Воронежскую и Нижегородскую губернии; с появлением холеры в 1892 году берет на себя заведование холерным участком. Заведует постройкой нескольких школ в Серпуховском уезде и одну из них, в Мелихове, строит на свои собственные средства. Состоит членом земского санитарного совета в своем уезде, попечителем двух земских школ, а затем и гласным земского собрания; служит посредником между крестьянами и земством по страхованию скота; очень серьезно относится к принятой на себя обязанности помогать по наблюдению за народным образованием в уезде. Устраивает у себя в усадьбе бесплатный прием больных крестьян, причем они по возможности и лекарствами снабжались — тоже, конечно, даром. Принимает на себя заведование участком во время народной переписи 1896 года. Нужно помнить, что все это относится к 90-м годам, когда земство было одним из немногих мест, где могла проявляться, да и то со всякими препятствиями, прогрессивная общественная работа. Известно также, сколько внимания, забот и труда он посвятил просветительным учреждениям своего Таганрога. О том, что Чехов во всех этих «малых делах», значение которых для того времени было неизмеримо больше, чем это может казаться теперь, держал себя безукоризненно с точки зрения общественной, может быть, лучшим доказательством может служить отношение к нему передовых московских земцев и в особенности московских земских врачей, организации в общественных вопросах очень строгой. А они окружали его необыкновенным уважением и любовью, и связь его с ними никогда не прерывалась. В 1902 году в Москве собрался очередной Пироговский съезд. В Татьянин день Художественный театр

устроил для участников съезда торжественный спектакль «Дяди Вани», и съезд приветствовал Чехова трогательной товарищеской телеграммой; отдельно послали телеграмму земские врачи. Театру, кроме того, поднесен был портрет Чехова.

Много ему попадало за Суворина и «Новое время». Он навсегда запомнил, как Суворин вместе с Григоровичем, Плещеевым и Полонским помогли ему выбраться из «Осколков» и «Будильника» и сохранил к Суворину благодарность как за это, так и за его личные неизменно до конца дружеские отношения. И, однако, при всем этом, он, который когда-то утверждал, что «будет печатать там, куда занесет ветер и свобода», уже с начала 90-х годов перестает печататься в «Новом времени», а после процесса Дрейфуса, возмущенный отвратительным поведением «Нового времени», он резко и навсегда порвал с редакцией и не мог потом хладнокровно говорить о ней. Он стал, как известно, своим человеком в «Русской мысли» и «Русских ведомостях». Но лично с Сувориным он сохранил, хотя и несколько охладевшие отношения до конца. Объясняется это в значительной степени тем, что в своей интимной переписке с Чеховым Суворин бывал часто не Сувориным «Нового времени». И о студенческих беспорядках и даже о процессе Дрейфуса и о многих других тогдашних явлениях русской жизни он в своих письмах писал так, что когда Чехов передавал их содержание или изредка читал некоторые отрывки из писем этих, то не верилось, что автором был Суворин. Вообще обнародование этих писем представляло бы громадный общественный интерес. К сожалению, этого никогда не случится. Вскоре после смерти Чехова я раз срочно был вызван Марией Павловной, и она рассказала мне, что утром прямо с парохода явился к ней Суворин, специально для этого приехавший из Феодосии, и долго убеждал ее вернуть ему его переписку с Антоном Павловичем. Она этим уговорам поддалась, о чем потом очень жалела, а Суворин письма, конечно, уничтожил. Между прочим, Суворин аккуратно снабжал Чехова нелегальным «Освобождением».

В ялтинский период интерес Чехова к общественным вопросам был велик и, я сказал бы, все возрастал. Кажется, не было ни одного относящегося сюда явления, на котором он не остановился бы в наших беседах, и «миросозерцание» его было часто много левее среднепрогрессивного. При этом я заметил, как много своих мыслей он вкладывал в уста некоторых своих героев, а впоследствии из обнародованной его переписки увидал, что развитие его миросозерцания и «выдавливание из

себя по каплям раба» шло в неизменном направлении задолго до «третьего периода». В дневнике Чехова мы находим запись по поводу банкета в годовщину освобождения крестьян: «Скучно и нелепо. Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п. в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, а на улицах, на морозе ждут кучера,— это значит лгать святому духу»; и этих же тем, почти в тех же выражениях он неоднократно касался и в разговорах. И. А. Бунин приводит слова Антона Павловича: «Я терпеть не могу русских студентов». Это были, конечно, слова, брошенные в пылу полусуточного разговора. Я помню его горячий спор с академиком Н. П. Кондаковым, который по поводу петербургских студенческих беспорядков осуждал и власть и профессию, но очень бранил и студентов, и как Чехов защищал последних, а когда Кондаков ушел, заметил: «Вот оттого и бунтуют молодые, что такие старики». Он особенно горячо всегда хлопотал о помощи учащимся, и сам оказывал им посильную материальную поддержку. Он только и тут не допускал фальши и не закрывал глаз на то, что и в их среде попадаются всякие и что случается, что радикальный студент потом делает в качестве прокурора карьеру на политических процессах. Между прочим, того же Кондакова он однажды долго и серьезно убеждал провести в академики Михайловского. Когда в 1902 году были отменены выборы Горького в Академию, он, как известно, послал свой мотивированный отказ от этого почетного звания. А чтобы оценить этот поступок, нужно, между прочим, вспомнить, с каким отвращением он относился ко всякого рода публичным выступлениям и демонстрациям.

Чехов говорил, как и писал, необыкновенно просто и не выносил пышных, надуманных, искусственных фраз. Как-то сидела у него передовая дама, говорила долго обо всяких высоких материях. Он молча слушал ее, а когда она вышла, расхохотался и определил: «Ну и шарманка», и так шарманкой она и осталась. И с каким юмором он рассказывал, как одна наша общая знакомая, тогда убежденная эсдечка, доказывала ему, что после «Мужиков» и «Оврага» и участия его в журнале «Жизнь» он ведь уже стал настоящим марксистом, но только еще сам этого не осознал.

Во всей биографии Чехова нельзя найти и намека на какой-нибудь антиобщественный или некорректный поступок. И когда в последний год своей жизни он не раз убежденно

кончал разговор словами: «Вот увидите, скоро у нас будет конституция», то это была не фраза, а выражение искреннего убеждения.

Чехова отличало, я бы сказал, благоговейное отношение к науке. О Горьком и других вышедших из народа писателях-самоучках (их называли «подмаксимками») он говорил: «Вот бы им только подучиться, а то без образования нельзя». Он верил, что безостановочный прогресс науки облагородит человечество. И тут он, глубокий скептик во всем остальном, становился энтузиастом.

Антон Павлович был, как известно, врачом и очень любил медицину. Студентом и первое время по окончании не собирался бросать ее. Еще во второй половине 80-х годов он писал, что «медицина моя законная жена, а литература — любовница» или «я врач и по уши втянулся в свою медицину». По окончании курса он заменял одно время врача Звенигородской земской больницы и уездного врача. И в Москве занимался частной практикой. По-видимому, собирался писать и какую-то специальную работу. Надо думать, он и на свой Сахалин смотрел как на медико-статистическую работу. Готовясь к поездке, очень серьезно, тщательно сам разработал регистрационную карточку, и там, на Сахалине, проделал громадную статистическую работу, в течение трех месяцев обошел всю каторгу с севера на юг, лично опросил всех каторжан и заполнил 10 000 индивидуальных карточек. В Меллихове до перехода своего на положение больного, т. е. в течение 5–6 лет, он принимал до 1000 обращавшихся к нему больных крестьян в год. Где-то я даже читал, что Чехов выражал желание, уже после поездки на Сахалин, «взять» приват-доцентуру по внутренним болезням, но это, конечно, вздор, как и заявление, что в его книжном шкафу в Ялте был значительный отдел медицинских книг. Там было несколько старых учебников и лекций Захарьина, и никогда я не видел и не слышал от него, чтобы он в эти книги заглядывал. С 97-го года он от медицины совсем отошел. Правда, из редакции «Русской мысли» ему аккуратно пересылали еженедельник «Русский врач», но он в нем просматривал только хронику и иногда мелкие «Заметки из практики» и любил поражать вычитанными «новыми средствами». И на письменном столе на определенном месте, как, впрочем, все на этом столе, всегда лежали молоточек, трубочка и медицинский календарь Риккера за текущий год. Он принимал всегда деятельное консультативное участие в лечении своих домашних, любил

давать советы приятелям. Но обычно это оканчивалось указанием, что надо серьезно лечиться и обратиться к врачу... Любил писать рецепты. О своей работе в земской среде он всегда вспоминал и рассказывал с теплым чувством. Связь с ней он не порывал до конца жизни. Он не раз повторял, что медицина не только значительно продвинула область его наблюдений, обогатила знанием, но и считал, что, в частности, она имела серьезное влияние и на его литературную деятельность. Естественно, что он хорошо знал врачебную среду, — и ни у одного автора не было выведено столько типов врачей, как у Чехова. Тема о врачах в произведениях Чехова может служить темой интересного исследования.

Тем обстоятельством, что Чехов был врач, объясняются и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности: или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все наиболее неблагоприятное, что знают из книг или практики про свою болезнь, или, наоборот, недооценивают того, что есть, отмахиваются от самых, казалось бы, убедительных симптомов, опять-таки стараясь обосновать свое отношение специально медицинскими доводами и соображениями. Много писалось и о специальной психике туберкулезных. Но и среди последних можно наблюдать такие же разнообразные характеры и типы, как и среди страдающих другими болезнями. Только здесь под влиянием некоторых особенностей течения болезни, ее часто медленного развития и длительности и созданных этими особенностями особых условий указанное выше ненормальное отношение к болезни сказывается особенно резко. Чехов является ярким примером длительного и упорного игнорирования, казалось бы, ясных и бесспорных явлений.

Я уже указывал, что в первое время нашего знакомства о его болезни разговора не было и осторожные мои и доктора Орлова попытки коснуться этого вопроса успеха не имели; и во время нашей короткой совместной жизни он нередко обращал внимание на мой кашель и серьезно советовал мне серьезно заняться своим здоровьем, но тщательно избегал касаться своего недуга. 27 ноября, вскоре после моего возвращения из краткой отлучки на север, мне рано утром подали доставленную от Чехова в запечатанном конверте записку: «*Cher monsieur, auries vous l'obligeance de venir chez moi. Je garde le lit. Votre devoue. Tsch.*» и после этих изысканных французских строк по-русски: «Захватите с собой, товарищ,

стетоскопчик и ларингоскопчик». Ларингоскопчика я не захватил, поняв, что это лишнее, но поспешил к нему и застал его в постели с порядочным кровохарканьем. И с этого дня он становится уже моим пациентом. Когда через несколько дней после остановки кровохарканья я мог детально его исследовать, то был поражен найденным. Я нашел распространенное поражение обоих легких, особенно правого, с явлениями распада легочной ткани, следы плевритов, значительно ослабленную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Приходилось читать, что Чехов заболел, блуждая осенью 1896 года целую ночь по Петербургу, после провала «Чайки». Это одна из легенд. При этом нашем первом медицинском разговоре он начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890), когда у него еще по дороге туда случилось кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно появлялось уже в 1884 году и потом нередко, иногда по несколько раз в год повторялось, 15-ти лет от роду он перенес какое-то острое длительное лихорадочное заболевание, после того как выкупался в ледяной воде, и провалялся тогда некоторое время в еврейской корчме в степи (впоследствии им описанной) и затем еще довольно долго и дома. И в студенческие годы, как я узнал потом от товарища его, студентом проживавшего у Чеховых, он много кашлял, нередко лихорадил, объясняя это простудой, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы «чего-нибудь там не нашли». Суворин, имевший возможность близко наблюдать Чехова во время их совместных путешествий и частых встреч, настаивал на необходимости лечиться, и Чехов в своих письмах к нему, хотя и подтверждает наличие кашля и кровохаркании, и признает, что последние пугают его, так как «в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве», но тут же наставительно, как врач, поучает, что «чахотка или иное серьезное легочное страдание узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно нет этой совокупности». И в другом письме: «Если бы кровотечение, какое у меня случилось в окружном суде (в 1885 году на знаменитом процессе скопинского банка), было симптомом чахотки, то я давно уже был бы на том свете, вот моя логика». В 1889 году умер от туберкулеза брат его Николай, художник, но и это не подействовало, и в 1891 году он пишет: «Я продолжаю тупеть, чахнуть и кашлять. Впрочем, все это от Бога. Лечение и забота о своем физическом существовании внушает мне что-то близкое к отвращению. Лечиться

не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя какому-нибудь врачу не позволю». И не позволял себя выслушивать и не обращался к врачам до весны 1897 года (почти 15 лет!), когда хлынувшая за обедом с Сувориным в «Славянском базаре» обильная кровь и вмешательство Суворина и врача заставили его лечь в клинику профессора Остроумова, где был диагностирован активный процесс в обоих легких. На этот раз Чехов понял и уже на следующий день из клиники писал: «Для успокоения больных им говорят, что кашель желудочный, а кровь геморроидальная. У меня кровь идет из правого легкого, как у брата и другой родственницы, тоже умершей от чахотки». Затем лето в деревне, осень и зима на Ривьере, где он живет, но не лечится, и уехал оттуда в Париж, уже в середине марта, в самое неподходящее время, когда многие как раз спасаются на Ривьеру. Сестра и брат его отмечают, что по возвращении его из-за границы летом в Мелихове по обыкновению было много гостей, друзей, но он уже не шутил, был задумчив и стал мало разговаривать. И вот теперь в Ялте ему опять пришлось обратиться к врачу. Однако мои тогдашние старания убедить Чехова в необходимости приняться серьезно за лечение сначала опять оставались без особого результата. Он упорно повторял, что лечиться, заботиться о здоровье внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, и если уж приходилось кашлять, то мокрота по возможности незаметно отплеывалась в маленький заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же спрятанный где-нибудь за книгами и отправляемый потом в камин. И не только с посторонними не любил он говорить о своей болезни, но от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался и на вопрос: «Как себя чувствуешь?» — отвечал: «Сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель».

Так как, пользуясь современной терминологией, мой блицкриг не удался, то я повел медленное наступление, и постепенно, с трудом, но добился относительных успехов, так что к 1901 году он перешел уже на положение настоящего пациента и сам уже иногда предлагал: «Давайте послушаемся». Трудно было ему привыкнуть к Ялте, к «теплой Сибири», как он ее называл, или после процесса Дрейфуса еще «Чертовым островом». Трудно ему было примириться с оторванностью от привычной литературной среды, привычной обстановки, скучно «без культуры, без московского звона», последнее особенно.

Его привязанность к Москве была исключительной и иногда выражалась в курьезных формах. Так он аккуратно выписывал из Москвы почтовую бумагу, конверты, w-бумагу, калоши, колбасу, утверждая, что только в Москве можно найти такие, как ему гребуются, хотя само собой все это можно было получить и в ялтинских магазинах того же качества и даже тех же фирм. Но переубедить его в этом не было никакой возможности.

В Ялте он себя в первое время чувствовал как «заштатный поп». Но в известной степени так себя чувствовали в первое время многие из вынужденных обитателей Ялты, тоже вырванные из привычной среды. Большинство из них, однако, через более или менее короткое время приспособлялись к новым условиям жизни, вживались. Привык бы и Чехов. Да он и писал впоследствии жене (осенью 1903 года), когда это вовсе уж не могло вызвать радостной реакции у адресата, что «к Ялте уже начинаю привыкать, пожалуй, научусь здесь работать». Да он ведь и не переставал в сущности работать. За первые полтора-два года его ялтинской жизни многое как будто бы и облегчало это приспособление к новому месту. Постройка собственной уютной дачи, переезд матери и частые наезды сестры, продажа сочинений Марксу на условиях, тогда казавшихся очень выгодными и во всяком случае обеспечивавших его материальное положение, выборы в почетные академики в начале 1900 года. Среди примечаний Дермана к изданию переписки Антона Павловича с О. Л. Книппер, вообще очень ценных и внимательно составленных, есть одно, где он говорит о том, что к выборам в академию Чехов отнесся «в лучшем случае безразлично, вернее отрицательно». Это неверно. Чехов, правда, отметил, что просто в равноправные члены академии ученые не решились избирать людей не из своей среды, но все-таки был очень доволен, и не только потому, что «врачи московские радуются», но, главным образом, потому, что видел в этом признание русского писателя. Он был в хорошем настроении, читал из присланной книжки описание парадного академического мундира и, смеясь, рисовал картину, как в солнечный ясный день по ялтинской набережной понесут открытый гроб с ним в белых штанах и парадном мундире, спереди крышка гроба со шпагой и треуголкой, а еще впереди торжественно буду шествовать я, неся подушку со всеми его орденами: медалью за перепись и Станиславом 3-й степени, полученным им как попечителем школы. Далее, весной того же 1900 года в Ялту специально

для него приезжала труппа Художественного театра. Наконец, это время совпало как раз с периодом расцвета Ялты и южного берега Крыма, который все больше начинал играть роль русской Ривьеры, и сюда приезжали в большом числе представители и литературы, и науки, и искусств. Среди них было много «беспокойщиков», но было и много лиц ему приятных, как раз хоть отчасти заменявших пробелы в привычной среде. И я начинал надеяться, что понемногу он займется и правильным лечением и здоровье его наладится. Правда, как это ни странно, было много обстоятельств, зависевших от окружавшей его дома обстановки, мешавших правильному его лечению. Для таких больных одним из главных условий последнего является правильный режим, в частности пищевой. Чехов был очень привязан к семье, но особенно нежно любил свою мать, окружая ее трогательной заботливостью, и последние слова в его письме-завещании на имя сестры были: «береги мать». И Евгения Яковлевна платила своему Антоше той же исключительной нежностью. Но что могла сделать эта милая всеми любимая старушка! Разве могла она что-нибудь провести или на чем-нибудь настоять! Кухней заведовала древняя-древняя старушка Марьюшка, привезенная из Мелихова. И выходило так, что, несмотря на все предписания, пищу давали ему часто совершенно неподходящую, а компрессы ставила неумелая горничная, и о тысяче мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было позаботиться. Сестра его Мария Павловна, очень всегда заботившаяся о матери и о брате Антоне, и духовно больше всех близкая ему, когда выяснилось положение, была совсем уже готова покинуть Москву, где она учительствовала в частной женской гимназии, и переехать совсем в Ялту, и я не сомневаюсь, что вдвоем мы в конце концов побороли бы сопротивление Антона Павловича, но после его женитьбы план этот по психологически понятным причинам отпал. С этого времени условия его жизни резко изменились, и исключительно с чисто врачебной точки зрения я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья.

Одному известному французскому специалисту по туберкулезу принадлежит афоризм: «чахоточные должны забыть о лаврах». И судьба Чехова этот афоризм как будто подтверждает. Его несчастьем было счастье, выпавшее на его долю к концу жизни и оказавшееся непосильным для него: женитьба и Художественный театр. Я помню, как волновался Чехов

перед первой постановкой его «Чайки» в Художественном театре, как этого волнения он не мог скрыть, и как оно выражалось между прочим в подробных рассказах о провале этой пьесы в Александринке, и помню, в каком длительном радостном возбуждении он находился после торжества и одержанной в Москве победы. И он, давший себе раньше слово порвать с театром и не писать больше пьес, пишет новые пьесы уже специально для этого театра, и Художественный театр становится театром Чехова, и очень много содействует увеличению его популярности. И затем женитьба. Когда я летом 1901 года в Лозанне из «Русских ведомостей» узнал об их браке, это не явилось полной неожиданностью, так как о их близости окружающие догадывались давно. Но мне почему-то вспомнилось тогда, как в приезд Ольги Леонардовны к Чеховым в Ялту весной 1900 года я как-то застал группу: она с Марией Павловной на верху лестницы, а внизу, беседуя с ними, стоял Антон Павлович. Она в белом платье, радостная, сияющая здоровьем и счастьем, в начале блестящей карьеры, первая актриса Художественного театра, в центре внимания не одной только Москвы, с огромными возможностями в будущем, и он, всего лет на десять старше ее, но осунувшийся, худой, пожелтевший, быстро стареющий, безнадежно больной.

От Чехова, когда он бывал в особенно хорошем настроении, приходилось иногда слышать, как он с приятелями, случалось, в молодости веселился. У него были приятельницы среди писательниц, артисток, художниц, но я никогда ни от него самого, ни от других его близких не слышал ни про одно его серьезное увлечение. С Ольгой Леонардовной он познакомился осенью 1898 года, когда по дороге в Крым бывал в Москве на репетициях «Царя Федора» и «Чайки» в только что организовавшемся Художественном театре, и с первой же встречи их потянуло друг к другу.

Ольга Леонардовна вскоре затем знакомится с его сестрой, и между ними установились очень дружеские отношения. Весной 1899 года Чехов, по горло ушедший в постройку дачи, уезжает неожиданно на север, как будто в Мелихово, «по всяким делам», но я тогда не догадался, по какому главному делу; он обещал вести себя там разумно, но застрял в Москве и писал мне: «Посетителей тьма-тьмуца, разговоры бесконечные, — и на второй день праздника (Пасхи) от утомления я едва двигался и чувствовал себя бездыханным трупом. Вчера был у Федотовой на ужине, который продолжался до

2-х часов ночи. Это я на зло вам». Затем Ольга Леонардовна едет в Мелихово; затем случайная встреча в Батуме и совместная поездка морем в Ялту. В Ялте она гостит в семье знакомого доктора. Весной следующего 1900 года Художественный театр приезжает в Ялту, специально чтобы показать Чехову свои новые постановки. Но Ольга Леонардовна приезжает раньше и живет у Чеховых, а после спектаклей Антон Павлович провожает ее в Москву. В июле Ольга Леонардовна гостит опять у Чеховых в Ялте и в августе уезжает в Москву уже его невестой (тайно для всех). Поздно осенью в самую скверную погоду он опять в Москве (кончает «Трех сестер»); затем зимой в декабре уезжает за границу, в Ниццу, Рим, собирался с М. М. Ковалевским в Африку, но эта поездка не состоялась, так как в феврале от скверной тамошней погоды он поспешил обратно в Ялту. В Риме он, между прочим, говорит Ковалевскому: «Как врач знаю, что жизнь моя будет коротка». Трудно представить себе образ жизни, менее подходящий для лечения туберкулезного больного. Все эти поездки, связанные с ними переутомление, переживания совершенно не вяжутся с его лечением и замечательно отражаются на его здоровье, которое быстро ухудшается. В начале лета 1901 года он опять в Москве, здесь из-за обострения показывается д-ру Щуровскому, и тот советует ему ехать на кумыс. Назначение, тогда очень меня удивившее, так как ни кумыс, ни вся тамошняя обстановка совершенно Чехову не подходили. Щуровский потом мне объяснил свое назначение тем, что Чехов многое от него скрыл, в частности и состояние своего кишечника. «На кумыс ехать одному скучно. Женился бы, да документов нет; они в Ялте, в столе», — пишет он сестре 24 мая, а на следующий день они венчаются, не предупредив никого из родных, и из-под венца уезжают на кумыс. Я никогда не сомневался и не сомневаюсь в настоящей глубокой любви Ольги Леонардовны к Чехову, как убежден, что и Антон Павлович переживал первое в жизни серьезное чувство по-своему, по-чеховски, и здесь, как увидим, сохраняя барьер между собой и, казалось бы, самым близким человеком. Но фатальные последствия этого брака для его здоровья не могли заставить себя ждать. Она должна была оставаться в Москве; он без риска и вредных последствий не мог покидать своей «теплой Сибири», и, зная Чехова, можно было вперед сказать, чем это кончится. У меня сохранилось письмо Ольги Леонардовны от 9 января 1902 года, когда у Чехова было обострение с значительным кровохарканьем, где она между прочим пишет: «Меня все

время сильно беспокоит здоровье Антона Павловича, и хотя я знаю все, что с ним было, так как и он мне пишет каждый день и Мария Павловна писала, но я все-таки обращаюсь к вам с большой просьбой: расскажите мне все, все о здоровье Антона. Я знаю, что вы его слушали и лечили. Я должна все знать. Только об одном прошу — говорите мне все, как человеку, а не как женщине, не снисходите якобы до моего понимания. Вы меня мало знаете, но не примеривайтесь ко мне, пишите все просто и ясно, не преувеличивая и не скрывая ничего. <...> Мне очень тяжела эта зима. Только что занята очень сильно, — это помогает. Такая разлука невыносима. Я все-таки думала, что здоровье Антона Павловича в лучшем состоянии, чем оно есть, и думала, что ему возможно будет провести хотя бы три зимние месяца в Москве. Ведь январь и февраль плохи в Ялте. Но теперь я об этом, конечно, и не заикаюсь в своих письмах. <...> В таком одиночестве я еще никогда не жила; да еще вечная душевная тревога». Я в своем ответе просто и ясно обрисовал положение вещей. Она впоследствии и мне и Чехову говорила, что, если это необходимо, она бросит сцену и переселится совсем в Ялту, но, конечно, это было бы несчастьем для обоих, если бы осуществилось. В письмах он ей по этому поводу писал: «Занимайся своим делом, а пожить вместе еще успеем» и «Не твоя вина, что бог вложил в тебя любовь к искусству, а в меня бациллы». И Ольга Леонардовна писала ему, что «привязана к сцене, как дура», и в другой раз: «без дела я совсем надоем тебе. Я не такая уж молодая, чтобы в одну секунду сломать то, что мне досталось так трудно». И вот начинаются постоянные переезды Антона Павловича из Ялты в Москву и обратно. Почти после каждой поездки в Москву он расплачивается либо плевритом, либо кровохарканьем, либо длительными повышениями температуры. И иногда сознательно обманывает себя, но чаще просто не говорит того, что думает, когда, принимая следствие за причину, указывает, что «вот в Москве было недурно, а как в Ялту вернулся, так опять расхворался». Или пишет: «Мое здоровье в Москве было лучше, т. е. не здоровье, а желудок». Зимы 1901–1902 и 1902–1903 годов он почти все время плохо себя чувствует, преодолевая те или другие обострения. К концу этого периода он очень изменился и внешне. Цвет лица приобрел сероватый оттенок, губы стали бескровны, он еще больше похудел и заметно поседел. Деятельность сердца все ухудшалась, процесс в легких все расползался. В соответствии с

этим стала все резче проявляться одышка, появились симптомы и туберкулезного поражения кишок.

Сознавал ли сам Антон Павлович в глубине души свое положение? Я уже приводил выше слова, сказанные им М. М. Ковалевскому в начале 1901 года. В марте этого же года, т. е. еще до венчания, Антон Павлович писал Ольге Леонардовне: «Да и здоровье мое становится, по-видимому, совсем стариковским, так что ты в моей особе получишь не супруга, а дедушку, так сказать». Старый друг чеховской семьи, прекрасно всех их знавшая Т. Л. Щепкина-Куперник в своих воспоминаниях описывает свое посещение в Москве, относящееся к осени 1902 года: «Я изумилась происшедшей в нем перемене. <...> Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты. <...> В этот вечер Ольга Леонардовна участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный В. И. Немирович во фраке с безупречным белым пластроном. Ольга Леонардовна вышла в нарядном туалете, повеяло тонкими духами, ласково и нежно простилась с Антоном Павловичем, сказав ему на прощанье какую-то шутовскую фразу, чтобы он без нее не скучал и «был умником» — и исчезла. Антон Павлович поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял. <...> И когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих друзей: «Да, кума... помирать пора».

Эти последние годы мое положение как врача очень затруднилось. Мне приходилось бороться не только с бактериями, но и с Москвой. И силы были неравны.

Весной 1902 года Ольга Леонардовна из Петербурга, где гастролировал Художественный театр, приехала в Ялту серьезно больной, и спустя несколько недель поехала долечиваться в Москву. <...> Она стала в это время очень нервной, болезненно подозрительной, ревновала Антона Павловича к его семье, особенно к сестре Марии Павловне. Все это, о чем тогда можно было частично догадываться, стало общеизвестным после обнародования переписки Антона Павловича с Ольгой Леонардовной. В 1922 году я, приехав в Берлин, застал там Художественный театр, часто виделся с Ольгой Леонардовной. И вот однажды она сообщила мне, что в издательстве «Слово» находятся в печати письма к ней Антона Павловича, и дала мне для просмотра несколько присланных ей корректурных листов, прибавив: «Напрасно вам

даю, вам будет неприятно кое-что читать». Познакомившись с содержанием, я ей советовал их пока не печатать, хотя бы потому, что многие из лиц, там поименованных, еще живы. Она ответила, что уже поздно, что она и деньги от издательства уже получила. Много позже, всего несколько лет тому назад, эти письма вышли в Москве вместе с письмами к нему Ольги Леонардовны в прекрасном издании, под редакцией и с примечаниями Дермана.

Письма Чехова к жене стоят совершенно особняком в его богатом эпистолярном наследстве. Насколько вообще письма его исключительно интересны по содержанию, блестят умом, стилем, остроумием, настолько эти бесцветны и, за исключением всего, относящегося к театру и постановкам, серы и неинтересны и могут дать совершенно ложное представление об их авторе, значительно уступая в интересе письмам Ольги Леонардовны, дающим не только богатый материал по истории Художественного театра первых лет его существования, но и касающимся часто разных сторон московской и петербургской жизни. В одном из своих писем ей он замечает: «Жене своей пишу только о касторке, пусть она простит своего старого мужа». И это почти верно. Читая эти письма, я часто задавал себе вопрос, почему он в них так скучен, так неинтересен, явно и упорно избегая касаться вопросов общих, даже литературных. Это особенно непонятно потому, что его корреспонденткой являлась женщина очень умная, с многообразными интересами, исключительно занимательная собеседница. И для меня так и осталось непонятным и неразрешенным, почему барьер как раз в этом случае оказался особенно высоким и непроницаемым.

Он много пишет об умывании, о чистке зубов, мытье головы, шеи, о перемене белья, чистке платья, и можно подумать, что это неопрятный замухрыжка, которого обучают хорошим манерам и приводят в благопристойный вид. Конечно, у него было, вероятно, немало привычек старого холостяка, и Ольга Леонардовна, вероятно, вносила в обиход много своего, женского, но я знал его как щепетильно-опрятного, необыкновенно аккуратного даже в мелочах, и у него всегда во всем царил образцовый порядок. Я никогда не видел у него кабинет небрежным или разбросанные части туалета в спальне; и сам он был всегда просто, но аккуратно одет; ни утром, ни поздно вечером я никогда не заставал его по-домашнему, без воротничка, галстука. В этом сыне мелкого лавочника, выросшем в крайней нужде, было много природного аристократизма,

не только душевного, но даже и внешнего, и от всей его фигуры веяло благородством и изяществом.

Ольга Леонардовна в своих письмах все время звала его в Москву. Я всячески старался этому противодействовать. Отсюда ее старания по возможности мое влияние устранить. И Антон Павлович в письмах старается ее в этом отношении успокоить, жертвуя часто правдой. Он скрывает мои посещения, пишет иногда, что я стал редко бывать, хотя за последние годы вряд ли проходило 2—3 дня без того, чтобы я не заехал к нему. Пишет, что я не лечу его, а приезжал так, посидеть. И часто себе в этом отношении противоречит. В другой раз пишет: «Приходил А., требует от меня послушания: требует настойчиво и завтра явится выслушивать меня; опротивело мне все это». Она отвечает: «Если тебе нужно, если тебе хорошо, умоляю, оставайся в Ялте; а что дальше будет, увидим». Он ей сообщает: «Кровохарканья здесь в Ялте не было ни разу, а в Любимовке (дача Алексеевых под Москвой, где они жили летом, и откуда он, чувствуя себя плохо, приехал один) оно было почти каждый день». На это Ольга Леонардовна отвечает: «Оставайся в Ялте совсем, на всю осень; это тебе будет очень хорошо и А. будет доволен. Напиши, что он тебе сказал». «Третьего дня явился ко мне твой, как ты его называешь, враг А.». «Вчера А. был у меня и все поддразнивал, и я подозреваю, что ты подкупила его, чтобы он подольше удерживал меня в Ялте». Пишет, что я был, но выслушать он мне не позволил. Но я ведь вообще выслушивал его, только когда это требовалось. И Ольга Леонардовна это знала. В 1929 году она в статье «Последние дни Чехова» в «Литературной газете» пишет: «Антон Павлович обыкновенно тяготился визитами врачей настолько, что даже наш постоянный врач и друг И. Н. А. всегда старался, и это ему удавалось, маскировать свои врачебные визиты к Антону Павловичу».

Как я указал выше, во время и после своей болезни она в письмах, иногда в очень обидной форме, нападает и на Марию Павловну, единственную мою союзницу; негодует, почему только, когда ее нет в Ялте, Антон Павлович лечится, чувствует себя хорошо, настроен хорошо; почему от Марии Павловны он принимает уход, заботы, а ее не допускает.

Отвечая в 1929 году на мой вопрос, читала ли она письма Чехова к Ольге Леонардовне (берлинское издание), Мария Павловна мне писала: «Письма к Ольге Леонардовне я не читала и даже книги у меня нет. Это издание заграничное, и у нас в СССР его не имеется. Я думаю, это хороший такт со

стороны Ольги не давать мне читать этих писем. Я боюсь их читать: тяжело».

Думаю, что в письмах и настроениях Ольги Леонардовны за это время играли роль не одна только болезнь и вызванная ею нервозность. Как женщина умная, она прекрасно понимала ненормальность создавшихся отношений. Ольга Леонардовна вышла из совсем другой среды, из чопорной немецкой семьи, и она очень скоро и крепко вошла в чеховскую, слилась с ней, в частности полюбила и подружилась с Марией Павловной. Еще в 1900 году она писала Чехову: «Я совсем отвыкла от своих; это ужасно, но это так». И поэтому она особенно болезненно чувствовала и переживала сдержанность, замкнутость Чехова. Еще до их брака она ему пишет: «Поболтай со мной попроще, пооткровенней; право, будет лучше, чем играть в молчанку». И уж в 1902 г. опять: «Ты со мной ничем решительно не делишься, а еще называешь подругой». «Ты рассказал Маше о пьесе, которую задумал («Вишневый сад»), а мне даже не намекнул». «Отчего мы не встретились молодыми? иными? Эх, Антон, Антон!» Под влиянием болезни и вынужденной невозможности совместной жизни, как ей хотелось, это только все обострилось. Должен сказать, что все эти настроения оказались преходящими и были забыты, и дружба, связывавшая Марию Павловну с Ольгой Леонардовной, осталась такой же крепкой, и связь Ольги Леонардовны с семьей Антона Павловича после его смерти стала, пожалуй, еще крепче. Насколько мне известно, вдова его брата Ивана после смерти мужа совсем переехала к ней. Точно так же и мои дружеские отношения с Ольгой Леонардовной ничем не нарушались за многие годы, прошедшие после смерти Антона Павловича. В свои частые, хотя бы и краткие, наезды в Москву я всегда старался повидать ее, у нее дома или в Художественном театре, и потом за границей мы всегда встречались, как старые друзья. Только часто вспоминая в наших беседах Антона Павловича, мы как-то никогда не касались его болезни и лечения.

Летом 1903 года во время пребывания Чехова в Москве он показался проф. Остроумову, в клинике которого лежал в 1897 году. И Остроумов, который, как известно было, не одобрял ялтинского климата зимой, высказался за переезд его на зимние месяцы куда-нибудь в окрестности Москвы. Только строго запретил всякие заграничные поездки: «так как ты калека». Когда по возвращении в Ялту Чехов мне об этом рассказал, я всячески запротестовал, и он пишет Ольге Лео-

народные: «Вчера А. долго говорил со мной о моей болезни и весьма неодобрительно отзывался об Остроумове, который позволил мне жить зимой в Москве. Говорил, что Остроумов был выпивши». Последние слова Антон Павлович прибавил от себя, вероятно, для крепости, потому что, я уверен, сам понимал нецелесообразность этого совета, не только и не столько с точки зрения климатической, сколько принимая во внимание условия его московской жизни. Он писал тогда Вересаеву: «Не знаю, кого мне теперь слушать, что делать». Осенью 1903 года он не перестает лихорадить, один плеврит следует за другим, трудно поддающиеся лечению расстройства кишечника. Он уже не скрывает своего плохого самочувствия. Впервые не избегает говорить о своей работе, как трудно ему дописывать и переписывать пьесу «Вишневый сад». Он мог это делать только урывками. А Художественный театр, увлеченный своими задачами, связанный планом, все торопит скорейшей присылкой пьесы. И Ольга Леонардовна почти в каждом письме пишет о том же. Он ей отвечает: «За пьесу не сердись; медленно переписываю, потому что не могу писать скорее», и в другой раз: «Ты делаешь мне выговор за то, что у меня не готова еще пьеса. Моя лень тут ни причем. Если бы я был в силах, то написал бы не одну, а 25 пьес».

И в отношениях Художественного театра к Чехову менее всего можно, конечно, допустить пренебрежительность, недостаточно внимательное отношение к его здоровью. Все участники труппы, начиная с главных персонажей, любовно относились к Чехову, который по их настоянию стал и пайщиком товарищества Художественного театра и которого они считали своим близким человеком. В надписи на фотографии, подаренной мне в 1922 году в Берлине К. С. Станиславским, имеются, между прочим, и следующие слова: «Мы вместе любили Чехова, радовались ему и оплакивали его», и это, несомненно, очень искренние слова. Но увлеченные созданием нового, непохожего на другие, театра, целиком отдавшиеся этой задаче, горевшие ею, они, считая новую пьесу чрезвычайно важной частью их намеченного плана, не замечали остального.

Повторяю, то, что случилось, при сложившихся обстоятельствах стало неизбежным, фатальным. Но, когда в одном из писем Чехова к жене мы читаем: «Реши ты (дело идет о его поездке в Москву), ибо ты человек занятой, рабочий, а я болтаюсь на этом свете, как фитюлька», то мы, читатели и почитатели Чехова, согласиться с этим никак не можем. И когда

в другом письме, указывая на то, что во вновь снятой в Москве квартире на третьем этаже лестница высокая и лифта нету, и что ему трудно будет с его одышкой подниматься, он кончает словами: «Ну да ничего, как-нибудь взберусь», то я, врач, не могу не думать о том, какое роковое влияние эта лестница должна была оказать на его и так уже ослабевшее сердце.

В конце 1903 года он везет, наконец, законченный и переписанный «Вишневый сад» в Москву. Здесь по 3—4 часа в день он, волнуясь, принимает живое участие во всех репетициях пьесы. Это как раз разгар сезона, и по вечерам он нередко опять в театре на спектаклях. Все же свободное от театра время толкуются посетители; совершаются прогулки по Москве; был и в бане... 17 января, в день его рождения и именин, премьеры «Вишневого сада» и чествование Чехова на открытой сцене после третьего акта. «А он,— пишет в своих воспоминаниях К. С. Станиславский,— мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля. <...> Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел» и прибавляет: «от юбилея отдавало похоронами». И Ольга Леонардовна в 1929 году, вспоминая этот день, пишет («Прожектор», №28): «Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее. Не было поры чистой радости в этот вечер 17 января; это верно».

В начале февраля Ольга Леонардовна везет его в Царицыно под Москвой осматривать усадьбу. На обратном пути опоздали к поезду и верст 30 проехали на лошадях в довольно сильный мороз. И Ольга Леонардовна, говоря об этой поездке в предисловии к переписке, отмечает: «Антон Павлович наслаждался. Точно судьба решила его побаловать и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку «Вишневого сада», и людей, которых он любил». После вышеприведенных замечаний о чествовании эти слова являются несколько неожиданными.

В середине февраля Антон Павлович вернулся в Ялту в значительно худшем состоянии, чем уехал, но оживленно рассказывал про чествование, речи, показывал многочисленные поднесенные ему в этот вечер подарки и комически жаловался, что кто-то, должно быть, нарочно, чтобы досадить ему, распростил слух о том, что он любитель древностей, а он их терпеть не может. Среди подношений действительно были модель древнего русского городка, старинный ларчик и, между прочим, чернильница XVIII в. На мое замечание, что все это

красиво и что, в частности, чернильница мне очень нравится, он ответил: «Да что вы, ведь теперь песочком не посыпают, есть пропускная бумага, и гусиных перьев тоже нет». Потом с милой улыбкой прибавил: «Ну вот, если очень нравится, я распоряжусь, чтобы в наказание вам эту чернильницу после моей смерти и вручили». Как он ни был плох, я тогда все-таки не мог предполагать, что чернильница уже через несколько месяцев действительно перейдет ко мне. Он пробыл в Ялте до конца апреля; здоровье, если и стало чуть лучше, то во всяком случае внушало мало надежды. Временами он оживлялся, строил всякие планы на будущее, мечтал засесть за работу, говоря, что в голове многое уже созрело. Собирался, если поправится как следует, с наступлением тепла поехать на войну, из-за которой очень волновался, и поехать именно врачом, «так как врач может больше видеть». Но чаще бывал молчалив, сосредоточенно задумчив, и он, никогда раньше не жаловавшийся на здоровье, говорил, что устал, что хочет понастоящему отдохнуть, набраться сил. Все чаще заставал я его сидящим в кресле или в нише на диване без газеты, без книги в руках. О чем он думал? Я уверен, что не только о литературе и житейском.

В конце апреля в довольно скверном общем состоянии он, как и было условлено, уехал в Москву, куда должен был вернуться из Петербурга и Художественный театр. В дороге простудился, получил резкое обострение, плеврит с необычно высокой для него температурой, и немедленно по приезде слег и не вставал до самой поездки в Баденвейлер, куда направил пользовавший его в это время в Москве д-р Таубе, врач семьи Книппер. Ни один из знавших и лечивших его раньше врачей не был привлечен, ни д-р Щуровский, ни проф. Остроумов. Последний ведь еще раньше решительно высказался против всяких заграничных поездок.

Перед отъездом Антон Павлович уговаривал меня в начале моего отпуска в конце мая захватить в Москву, чтобы, шутя прибавил он, «спасти его от немцев». Но я в тот год не мог оставить Ялту раньше середины июня, да и все равно считал свою поездку бесполезной. В последнем полученном мною от него из Москвы письме, от 26 мая, он пишет, что, как приехал в Москву, так ни разу еще не одевался, что 3 июня уезжает за границу, а в августе будет в Ялте. «Теперь лежу на диване и по целым дням от нечего делать все браню Остроумова и Щуровского. Большое удовольствие». Ольга Леонардовна впоследствии с возмущением мне рассказывала, как в Берлине

в Савой-отель к Чехову приехал приглашенный известный клиницист проф. Эвальд. Внимательно исследовав больного, он развел руками и, ничего не сказав, вышел. Это, конечно, было жестоко, но развел он руками наверно в справедливом недоумении, зачем и куда такого больного везут.

Когда 3 июля в пасмурное дождливое утро на Рижском взморье мне подали телеграмму с извещением о смерти Антона Павловича, я не о том подумал, что Россия потеряла любимого своего писателя в самом расцвете его творческого дара, а остро и болезненно почувствовал, что ушел из жизни человек большой душевной красоты и исключительного обаяния. Чуткий к чужой беде и чужому горю и всегда всем старавшийся помочь, он сам кротко, безропотно и молча переносил свои недуги и печали. И больно угнетало сознание, что эта преждевременная смерть не была неизбежной, а в значительной мере явилась следствием неблагоприятно сложившихся обстоятельств.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	5
Глава 1. Антон и его братья	8
Глава 2. Тина дней	18
Глава 3. Этническая цензура	32
Глава 4. Марш Мендельсона	40
Глава 5. Царь Соломон	47
Глава 6. Мелочи жизни	54
Глава 7. Звуки скрипки в пространстве между «есть Бог» и «нет Бога»	64
Глава 8. В «деле Дрейфуса»	71
Глава 9. Ясность, или Что есть Истина	91
Несколько заключительных слов	105
<i>Приложение</i>	
Антон Чехов. «Еврейские рассказы»	109
Тина	109
Перекасти-поле. Путевой набросок	125
Степь. История одной поездки (фрагмент) ..	138
Скрипка Ротшильда	150
Студент	159
Лео Яковлев. Призрак «белой дачи» (Об Исааке Альтшуллере)	163
Исаак Альтшуллер. Еще о Чехове	165

Науково-художнє видання

ЯКОВЛЄВ Лео

**АНТОН ЧЕХОВ.
РОМАН З ЄВРЕЯМИ**

Російською мовою

Відповідальна за випуск *Л.А. Копецька*
Художник обкладинки *Б.М. Каган*
Коректор *О. В. Ветрова*
Комп'ютерна верстка *В. Ю. Куплевацького*

Підп. до друку з ориг.-макета 25.09.2000.
Формат 60х90 1/16. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 12. Обл.-вид. арк. 12,22.
Тираж 1 000 пр.

Видавнича група «РА-Каравела»
61057 Харків, вул. Сумська, 28.
Контактні телефони:
тел. (0572) 43-06-22
факс (0572) 43-61-63